

Белла
Ахмадулина

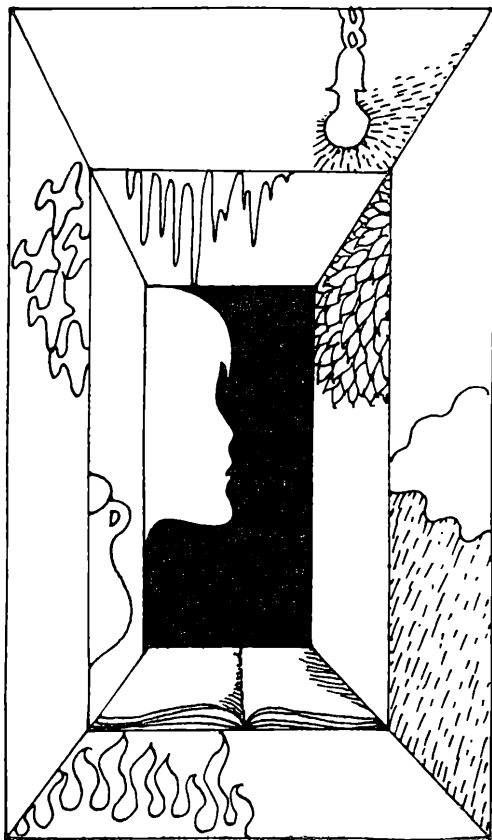
СВЕЧА

Белла Ахмадулина



СВЕЧА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА
1977



Белла
Ахмадулина

СВЕЧА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
МОСКВА — 1977

P2
A95

Художник
В. КРАСНОВСКИЙ

А $\frac{70402-172}{M-105(03)77}$ без объявления

© Издательство «Советская Россия», 1977 г.

ЭТО Я...

*Это я — в два часа пополудни
повитухой добытый трофей.
Надо мною играют на лютне.
Мне щекотно от палочек фей.
Лишь расплыв золотистого цвета
понимает душа — это я
в знойный день довоенного лета
озираю красу бытия.
«Буря мглою...» и баюшки-баю,
я повадилась жить, но, увы,—
это я от войны погибаю
под угрюмым присмотром Уфы.
Как белеют зима и больница!
Замечаю, что не умерла.
В облаках неразборчивы лица
тех, кто умерли вместо меня.
С непригожим голубеньким ликом,
еле выпростав тело из мук,
это я в предвкушенье великом
слышу нечто, что меньше, чем звук.
Лишь потом оценю я привычку
слушать вечную, точно прибой,
безымянных вещей переключку
с именующей вещи душой.
Это я — мой наряд фиолетов,
я надменна, юна и толста,
но к предсмертной улыбке поэтов
я уже приучила уста.
Словно дрожь между сердцем и сердцем,
есть меж словом и словом игра.*

*Дело лишь за бесхитростным средством
обвести ее вязью пера.*

*— Быть словам женихом и невестой! —
это я говорю и смеюсь.*

*Как священник в глуши деревенской,
я венчаю их тайный союз.*

*Вот зачем мимолетные феи
осыпали свой шепот и смех.*

*Лбом и певческим выгибом шеи,
о, как я не похожа на всех.*

*Я люблю эту мету несходства,
и, за дальней добычей спеша,
юной гончей мой почерк несется,
вот настиг — и озябла душа.*

Это я проклиная и плачу.

Пусть бумага пребудет бела.

*Мне с небес диктовали задачу —
я ее разрешить не смогла.*

Я измучила упряжью шею.

*Как другие плетут письма —
я не знаю, нет сил, не умею,
не могу, отпустите меня.*

*Это я — человек-невеличка,
всем, кто есть, прихожусь близнецом,
сплю, покуда идет электричка,
пав на сумку невзрачным лицом.*

*Мне не выпало лишней удачи,
слава богу, не выпало мне
быть заслуженней или богаче
всех соседей моих по земле.*

*Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю*

*в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнюю в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.*

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Какой безумец празднество затеял
и щедро Днем поэзии нарек?
По той дороге, где мой след затерян,
стекается на празднество народ.

О славный день, твои гуляки буйны.
Я на себя их смелость не беру.
Ты для меня — торжественные будни.
Не пировать мне на твоём пиру.

А в публике — доверье и смущенье.
Как добрая душа ее проста!
Великого и малого смешенье
не различает эта доброта.

Пока дурачит слух ее невежда,
пока никто не видит в этом зла,
мне остается смутная надежда,
что праздники случаются не зря.

Не зря слова поэтов осеняют,
не зря, когда звучат их голоса,
у мальчиков и девочек сияют
восторгом и неведеньем глаза.

ДРЕВНИЕ РИСУНКИ В ХАКАСИИ

Неведомый и древний лучник,
у первобытного огня
он руки грел. Он женщин лучших
любил. Он понукал коня.

Но что тревожило рассудок,
томило, отводило сон?
О, втиснутый в скалу рисунок!
Как дерзок и наивен он!

Он тяжело рисовал и скупю,
как будто высекал огонь.
И близилось к нему искусство,
и ржал его забытый конь.

Он нежно трогал эти стены.
Но кто он? Что случилось с ним?
И долго мы на эти стрелы
как бы в глаза его глядим.

ГРУЗИНСКИХ ЖЕНЩИН ИМЕНА...

Там в море паруса плутали,
и, не причастные жаре,
медлительно цвели платаны
и осыпались в декабре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в прибрежном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал,
и выплывал, как черный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням в воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетались руки в водопад,
и капли сохли и мелели
и загорались невпопад.

И заглушая олеандры,
сбравшись все в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся о сваи,
там приникал к воде причал.
— Цисана! — из окошка звали.
— Натэла! — голос отвечал.

АВГУСТ

Так щедро август звезды расточал.
Он так бездумно приступал к владенью,
и обращались лица ростовчан
и всех южан — навстречу их паденью.

Я добрую благодарю судьбу.
Так падали мне на плечи созвездья,
как падают в заброшенном саду
сирени неопрятные соцветья.

Подолгу наблюдали мы закат,
соседей наших клавиши сердили,
к старинному роялю музыкант
склонял свои печальные седины.

Мы были звуки музыки одной.
О, можно было инструмент расстроить,
но твоего созвучия со мной
нельзя было нарушить и расторгнуть.

В ту осень так горели маяки,
так недалеко звезды пролегали,
бульварами шагали моряки,
и девушки в косынках пробегали.

Все то же там паденье звезд и зной,
все так же побережье неизменно.
Лишь выпали из музыки одной
две ноты, взятые одновременно.

ТВОЙ ДОМ

Твой дом, не ведая беды,
меня встречал и в щеку чмокал.
Как будто рыба из воды,
сервиз выглядывал из стекол.

И пес выскакивал ко мне,
как галка, маленький, орущий,
и в беззащитном всеоружье
торчали кактусы в окне.

От неурядиц всей земли
я шла озябшим делегатом,
и дом смотрел в глаза мои
и добрым был и деликатным.

На голову мою стыда
он не навлек, себя не выдал.
Дом клялся мне, что никогда
он этой женщины не видел.

Он говорил: — Я пуст. Я пуст.—
Я говорила: — Где-то, где-то...—
Он говорил: — И пусть. И пусть.
Входи и позабудь про это.

О, как боялась я сперва
платка или иной приметы,
но дом твердил свои слова,
перетасовывал предметы.

Он заметал ее следы.
О, как он притворялся ловко,
что здесь не падало слезы,
не облакачивалось локтя.

Как будто тщательный прибор
смыл все: и туфель отпечатки,
и тот пустующий прибор,
и пуговицу от перчатки.

Все сговорились: пес забыл,
с кем он играл, и гвоздик малый
не ведал, кто его забил,
и мне давал ответ туманный.

Так были зеркала пусты,
как будто выпал снег и стаял.
Припомнить не могли цветы,
кто их в стакан граненый ставил...

О дом чужой! О милый дом!
Прощай! Прошу тебя о малом:
не будь так добр. Не будь так добр.
Не утешай меня обманом.

Все радуги, возникшие из них,
пронзают небо в сладости короткой,
и вот уже, разнеженный щекоткой,
семь вкусов спектра пробует язык.

И автомата темная душа
взирает с добротой старомодной,
словно крестьянка, что рукой холодной
даст путнику напиток из ковша.

МОТОРОЛЛЕР

Завиден мне полет твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слез,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зеленых отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твое светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло
и воду.

Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поет,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, веселый твой полет
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках
отдаленных.

Пока моя походка тяжела
подъемлешь ты два крылышка зеленых.

Так пронось! — покуда я стою.
Так лепечи! — покуда я немею.
Всю легкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

* * *

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю — снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости — из горести
так прямо голову держу.

МАГНИТОФОН

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный,—

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищенный мной,
мой голос плачет отвлеченно.

Я знаю — там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зеленом облаке окна
танцует голосок старинный
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь, там, из угла,
старик к нему зовет снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им
прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изъяны
картавости — и снов моих
нецеломудренны туманы.



Влечет меня старинный слог.
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспылчивость и щедрость!
Но снизойдет и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сраженье,
и вот придет на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю — и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

В МЕТРО НА ОСТАНОВКЕ «СОКОЛ»

Не знаю, что со мной творилось,
не знаю, что меня влекло.
Передо мною отворилось,
распавшись надвое, стекло.

В метро на остановке «Сокол»
моя поникла голова.
Спросив стакан с томатным соком,
я простояла час и два.

Я что-то вспомнить торопилась
и говорила невпопад:
— За красоту твою и милость
благодарю тебя, томат.

За то, что влагою ты влажен
за то, что овощем ты густ,
за то, что красен и отважен
твой детский поцелуй вокруг уст.

А люди в той неразберихе,
направленные вверх и вниз,
как опаляющие вихри,
над головой моей неслись.

У каждой девочки скользящей
по мрамору, словно по льду,
опасный, огненный, косящий
зрачок огромный цвел во лбу.

Вдруг все, что тех людей казнило,
все, что им было знать дано,
в меня впилося легко и сильно,
словно иголка в полотно.

И утомленных женщин слезы,
навек прилипшие к глазам,
по мне прошли, будто морозы
по обнаженным деревьям.

Но тут владычица буфета,
вся белая, как белый свет,
воскликнула:
— Да что же это!
Уйдешь ты все же или нет?

Ах, деточка, мой месяц ясный,
пойдем со мною, брось тужить!
Мы в роще Марьиной прекрасной
с тобой две Марьи будем жить.

В метро на остановку «Сокол»
с тех пор я каждый день хожу.
Какой-то горестью высокой
горюю и вокруг гляжу.

И к этой Марье бесподобной
припав, как к доброму стволу,
потягиваю сок холодный
иль просто около стою.

* * *

Нас одурачил нынешний сентябрь
с наивностью и хитростью ребенка.
Так повезло раскинутым сетям —
мы бьемся в них, как малая рыбешка.

Нет выгоды мне видеться с тобой,
И без того сложны переплетенья.
Но ты проходишь, головой седой
оранжевые трогая растенья.

Я говорю на грани октября:
— О будь неладен, предыдущий месяц.
Мне надобно свободы от тебя,
и торжества, и праздника, и мести.

В глазах от этой осени пестро.
И, словно на уроке рисованья,
прилежное пишу тебе письмо,
выпрашивая расставанья.

Гордилась я. и это было зря.
Опровергая прошлую надменность,
прошу тебя: не причиняй мне зла!
Я так на доброту твою надеюсь!

МАЛЕНЬКИЕ САМОЛЕТЫ

Ах, мало мне другой заботы,
обременяющей чело,—
мне маленькие самолеты
все снятся, не пойму с чего.

Им все равно, как сняться мне:
то, как птенцы, с моей ладони
они зерно берут, то в доме
живут, словно сверчки в стене.

Иль тычутся в меня они
носами глупыми: рыбешка
так ходит возле ног ребенка,
щекочет и смешит ступни.

Порой вокруг моего огня
они толкаются и слепнут,
читать мне не дают, и лепет
их крыльев трогает меня.

Еще придумали: детьми
ко мне пришли и со слезами,
едва с моих колен слезали,
кричали: «На руки возьми!»

Прогонишь — снова тут как тут:
из темноты, из блеска ваксы,
кося белком, как будто таксы,
тела их длинные плывут.

Что ж, он навек дарован мне —
сон жалостный, сон современный,
и в нем — ручной, несоразмерный
тот самолетик в глубине?

И все же, отрезвев от сна,
иду я на аэродромы —
следить огромные те громы,
озвучившие времена.

Когда в преддверье высоты
всесильный действует пропеллер,
я думаю — ты все проверил,
мой маленький? Не вырос ты.

Ты здесь огромным серебром
всех обманул — на самом деле
ты крошка, ты дитя, ты еле
заметен там, на голубом.

И вот мерцаем мы с тобой
на разных полюсах пространства.
Наверно, боязно расстаться
тебе со мной — такой большой?

Но там, куда ты вознесен,
во тьме всех позывных мелодий,
пускай мой добрый, странный сон
хранит тебя, о самолетик!

БОЛЕЗНЬ

О боль, ты — мудрость. Суть решений
перед тобою так мелка,
и осеняет темный гений
глаз захворавшего зверька.

В твоих губительных пределах
был разум мой высок и скуп,
но трав целебных поределых
вкус мятный уж не сходит с губ.

Чтоб облегчить последний выдох,
я, с точностью того зверька,
принюхавшись, нашла свой выход
в печальном стебельке цветка.

О, всех простить — вот облегченье!
О, всех простить, всем передать
и нежную, как облученье,
вкусить всем телом благодать.

Прощаю вас, пустые скверы!
При вас лишь, в бедности моей,
я плакала от смутной веры
над капюшонами детей.

Прощаю вас, чужие руки!
Пусть вы протянуты к тому,
что лишь моей любви и муки
предмет, не нужный никому.

Прощаю вас, глаза собачьи!
Вы были мне укор и суд.
Все мои горестные плачи
досель эти глаза несут.

Прощаю недруга и друга!
Целую наспех все уста!
Во мне, как в мертвом теле круга,
законченность и пустота.

И взрывы щедрые, и легкость,
как в белых дребезгах перин,
и уж не тягостен мой локоть
чувствительной черте перил.

Лишь воздух под моею кожей.
Жду одного: на склоне дня,
охваченный болезнью схожей,
пусть кто-нибудь простит меня.

СВЕЧА

Всего-то — чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспеши: твое перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
все чаще, способом старинным,
и сталактитом стеариным
займешься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,
все слаще обмирает улей.
Все глубже осень, и душа
все опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив
плода, из пустяка пустого
отлитого. Как кропотлив
труд осенью, как тяжело слово.

Значительнее, что ни день,
природа ум обременяет,
похожая на мудрость лень
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед
влекущее, вертя педалью,
вдруг поглядит на белый свет
с какой-то ясною печалью.

ТОСКА ПО ЛЕРМОНТОВУ

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твое лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шепоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь черный зонт в моих руках гремит.
Живой и мрачной силой он напрягся.
То, что тебя покинуть норовит,—
пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом дому, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом дому?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершен,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба,
и потому — с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы — он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак — я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою — он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,
где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша Вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,

течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский
храм.

Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный хrap,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с легкостью вместил
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моем мозгу и чернотой меж век,
все плачущей над маленьким тобою?

И в этой, богом замкнутой судьбе,
в твоей низжайшей муке превосходства,
хотя б сверчок, любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где — только-то! — через четыре года
сомкнется над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.

Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасен уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.

ГОСТИТЬ У ХУДОЖНИКА

Ю. Васильеву

Итог увяданья подводит октябрь.
Природа вокруг тяжела и серьезна.
В час осени крайний — так скучно локтям
опять ушибаться об угол сиротства.
Соседской четы непомерный визит
все длится, и я, всей душой утомляясь,
ни слова не вымолвлю — в горле висит
какая-то глухонемая туманность.
В час осени крайний — огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали меня погостить
в доме у художника, там, за Таганкой.

И вот, аспирином задобрив недуг,
напялив калоши, — скорее, скорее
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
О, милое зрелище этих затей!
Средь кистей, торчащих из банок и ведер,
играет свирель и двух малых детей
печальный топочет вокруг хороводик.
Два детские личика умудрены
улыбкой такую усталой и вечной,
как будто они в мирозданье должны
нестись и описывать круг бесконечный.
Как будто творится века напролет
все это: заоблачный лепет свирели
и маленьких тел одинокий полет
над прочностью мира, во мгле акварели.

И я, притаившись в тени голубой,
застыв перед тем невеселым весельем,
смотрю на суровый их танец, на бой
младенческих мышц с тяготеньем вселенным.
Слабею, впадаю в смятенье невежд,—
когда, воссияв над трубою подзорной,
их в обморок вводит избыток небес,
терзая рассудок тоской тошнотворной.
Но полно! И я появлюсь в дверях,
недаром сюда я брела и спешила,
о счастье, что кто-то так радостно рад,
рад так беспредельно и так беспричинно!
Явленью моих одичавших локтей
художник так рад, и свирель его рада,
и щедрые, ясные лица детей
даруют мне синее солнышко взгляда.
И входит, подходит та, милая, та,
простая, как холст, не насыщенный
грунтом.

Но кроткого, смиренного лба простота
пугает предчувствием сложным и грустным.
О скромность холста, пока срок не пришел,
невинность курка, пока пальцем не тронешь,
звериный, до времени спящий прыжок,
нацеленный в близь, где играет звереныш.
Как мускулы в ней высоко взведены,
когда первобытным следит исподлобьем
три тени родные, во тьму глубины
запущенные виражом бесподобным.
О девочка цирка, хранящая дом.
Все ж выдаст болезненно-звездная
бледность —

во что ей обходится маленький вздох
над бездной внизу, означающей бедность.
Какие клинки покидают ножны,
какая неисповедимая доблесть
улыбкой отвечает гневу нужды,
каменья ее обращая в съедобность?

Как странно незрима она на свету,
как слабо затылок ее позолочен,
но неколебимо хранит прямоту
прозрачный, стеклянный ее позвоночник.
И радостно мне любоваться опять
лицом ее, облаком не очевидным,
а рученьку боязно в руки принять,
как тронуть скорлупку в гнезде

СОЛОВЬИНОМ.

И я говорю:— О, дайте скорей
кружиться в одной карусели отвесной,
подставив горячие лбы под свирель,
под ивовый дождь ее чистых отверстий.
Художник на бочке высокой сидит,
как Пан, в свою хитрую дудку дудит.
Давайте, давайте кружиться всегда,
и все, что случится,— еще не беда,
ах, господи боже мой, вот вечеринка,
проносится около уха звезда,
под веко летит золотая соринка,
и кто мы такие, и что это вдруг
цветет акварели голубенький дух,
и глина краснеет, как толстый ребенок,
и пыль облетает с холстов погребенных,

и дивные рожи румяных картин
являются нам, когда мы захотим.
Проносимся! И, посреди тишины,
целуется красное с желтым и синим,
и все одиночества душ сплочены
в созвездье одно притяжением сильным.

Жить в доме художника день или два
и дольше, но дому еще не наскучить,
случайно узнать, что стоят деревья
под тяжестью белой, повисшей на сучьях,
с утра втихомолку собраться домой,
брести облегченно по улице снежной,
жить дома, пока не придет за тобой
любви и печали порыв центробежный.

МОИ ТОВАРИЩИ

* * *

— Пока! — товарищи прощаются со мной,
— Пока! — я говорю. — Не забывайте! —
Я говорю: — Почаще здесь бывайте! —
пока товарищи прощаются со мной.

Мои товарищи по лестнице идут,
и поднимаются их голоса обратно.
Им надо долго ехать — до Арбата,
до набережной, где их дома ждут.

Я здесь живу. И памятли давно
мне все приметы этой обстановки.
Мои товарищи стоят на остановке,
и долго я смотрю на них в окно.

Им летний дождик брызжет на плащи,
и что-то занимается другое.
Закрыв окно, я говорю: — О горе,
входи сюда, бесчинствуй и пляши!

Мои товарищи уехали домой,
они сидели здесь и говорили,
еще восходит над столом дымок —
это мои товарищи курили.

Но вот приходит человек иной.
Лицо его покойно и довольно.
И я смотрю и говорю: — Довольно!
Мои товарищи так хороши собой!

Он улыбается: — Я уважаю их.
Но вряд ли им удастся отличиться.
— О, им еще удастся отличиться
от всех постылых подвигов твоих.

Удачам все завидуют твоим —
и это тоже важное искусство,
и все-таки другое есть Искусство —
мои товарищи, оно открыто им.

И снова я прощаюсь: — Ну, всего
хорошего, во всем тебе удачи!
Моим товарищам ненужно удачи!
Мои товарищи добьются своего!

* * *

Когда моих товарищей корят,
я понимаю слов закономерность,
но нежности моей закаменелость
мешает слушать мне, как их корят.

Я горестно упрекам этим внемлю,
я головой киваю: слаб Андрей!
Он держится за рифму, как Антей
держался за спасительную землю.

За ним я знаю недостаток злой:
кощунственно венчать «гараж» с «геранью»,
и все-таки о том судить Гераклу,
поднявшему Антея над землей.

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом —
это глупость.

Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.

И я его корю: зачем ты лих?
Зачем ты воздух детским лбом таранишь?
Все это так. Но все ж он мой товарищ.
А я люблю товарищей моих.

Люблю смотреть, как, прыгнув из дверей,
выходит мальчик с резвостью жонглера.
По правилам московского жаргона
люблю ему сказать: «Привет, Андрей!»

Люблю, что слова чистого глоток,
как у скворца, поигрывает в горле.
Люблю и тот, неведомый и горький,
серебряный какой-то холодок.

И что-то в нем, хвалили или кори,
есть от пророка, есть от скомороха,
и мир ему — горяч, как сковородка,
сжигающая руки до крови.

Все остальное ждет нас впереди.
Да будем мы к своим друзьям

пристрастны!

Да будем думать, что они прекрасны!
Терять их страшно, бог не приведи!

ВСТУПЛЕНИЕ В ПРОСТУДУ

Прост путь к свободе, к ясности ума —
достаточно, чтобы озябли ноги.
Осенние прогулки вдоль дороги
располагают к этому весьма.

Грипп в октябре — всевидящ, как господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.

Вот ты проходишь меж дерев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока еще банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.

Еще ты скучен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной
простуда шлет свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.

Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий:
твой сан особый средь людей иных.

Ты слышишь, как щекочет, как течет
под мышкой ртуть, она замрет — и тотчас
определит серебряная точность,
какой тебе оказывать почет.

**И аспирин тягостный глоток
дарит тебе непринужденность духа,
благие преимущества недуга
и смелости недобрый холодок.**

* * *

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.
Я не о них.

Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.

То добрый пес. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела,
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
все различавший в тишине,
пес умудренный, семилетний,
сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.
Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пес. Ах, Тошка,
ты понимаешь все. Ответь,
что так мне совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Все тонкий нюх твой различает,
угадывает наперед.
Скажи мне, что нас разлучает
и все ж расстаться не дает?

* * *

Кто знает — вечность или миг
мне предстоит бродить по свету.
За этот миг иль вечность эту
равно благодарю я мир.

Что б ни случилось, не клянусь,
а лишь благословляю легкость:
твоей печати мимолетность,
моей кончины тишину.

* * *

По улице моей который год
звучат шаги — мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонюсь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоем лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву и поднести к лицу
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и — мудрая — я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверят мне
предметы.

Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда — из слез, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.

СТИХОТВОРЕНИЕ,
НАПИСАННОЕ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ
В ТБИЛИСИ

Мне — пляшущей под мцхетскую луной,
мне — плачущей любовью мышцей в теле,
мне — ставшей тенью, слабою длиной,
не умещенной в храм Свети-Цховели,
мне — обиженной ниткой серебра,
продернутой в твою иглу, Тбилиси,
мне — жившей под звездой, до утра,
озябшей до крови в твоей теплице,
мне — не умевшей засыпать в ночах,
безумьем растлевающей знакомых,
имеющей зрачок коня в очах,
отпрянувшей от снов, как от загонов,
мне — в час зари поющей на мосту:
«Прости нам, утро, прегрешенья наши.
Обугленных желудков нищету
позолоти своим подарком, хаши»,
мне — скачущей наискосок и вспять
в бессоннице, в ее дурной потехе,—
о господи, как мне хотелось спать
в глубокой, словно колыбель, постели.

Спать — засыпая. Просыпаясь — спать.
Спать — медленно, как пригублять напиток.
О, спать и сон посасывать, как сладость,
пролив слюною сладости избыток.

Проснуться поздно, глаз не открывать,
чтоб дальше искушать себя серетом

погоды, осеняющей кровать
пока еще не принятым приветом.

Мозг слеп, словно остывшая звезда.
Пульс тих, как сок в непробужденном
дреve.

И — снова спать! Спать долго. Спать
всегда,
Спать замкнуто, как в материнском чреве.

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Явиться утром в чистый север сада,
в глубокий день зимы и снегопада,
когда душа свободна и проста,
снегов успокоителен избыток,
и пресной льдинки маленький напиток
так развлекает и смешит уста.

Все нужное тебе — в тебе самом,—
подумать и увидеть, что Симон
идет один к заснеженной ограде.
О нет, зимой мой ум не так умен,
чтобы поверить и спросить: Симон,
как это может быть при снегопаде?

И разве ты не вовсе одинаков
с твоей землею, где, навек заплакав
от нежности, все плачет тень моя,
где над Курой, в объятой богом Мцхете,
в садах зимы берут фиалки дети,
их называя именем «Иа»?

И, коль ты здесь, кому теперь видна
пустая площадь в три больших окна
и цирка детский круг кому заметен?
О, дома твоего беспечный храм,
прилив вина и лепета к губам
и пение, что следует за этим!

Меж тем все просто: рядом то и это,
и в наше время от зимы до лета
полгода жизни, лёта два часа.

И приникаю я лицом к Симону
все тем же летом, тою же зимою,
когда цветам и снегу нет числа.

Пушай же все само собой идет:
сам прилетел по небу самолет,
сам самовар нам чай нальет в стаканы.
Не будет знать, но сам придет сосед
для добрых восклицаний и бесед,
и голос сам заговорит стихами.

Я говорю себе: твой гость с тобою,
любуйся его милой худобою,
возьми себе, не отпускай домой.
Но уж звонит во мне звонок испуга:
опять нам долго не видать друг друга
в честь разницы меж летом и зимой.

Простились, ничего не говоря.
Я предалась заботам января,
вздохнув во сне легко и сокровенно.
И снова я тоскую поутру.
И в сад иду, и веточку беру,
и на снегу пишу я: Сакартвело.

СНЫ О ГРУЗИИ

Сны о Грузии — вот радость,
и под утро так чиста
виноградовая сладость,
напоившая уста.

Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу,
в золотом Свети-Цховели
ставлю тихую свечу.

Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.

Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
милой родины суровость,
нежность родины чужой.

ОЗНОБ

Хвораю, что ли,— третий день дрожу,
как лошадь, ожидающая бега.
Надменный мой сосед по этажу
и тот вскричал:
— Как вы дрожите, Белла!

Но образумьтесь! Странный ваш недуг
колеблет стены и сквозит повсюду.
Моих детей он воспаляет дух
и по ночам звонит в мою посуду.

Ему я отвечала:
— Я дрожу
все более — без умысла худого.
А впрочем, передайте этажу,
что вечером я уйду из дома.

Но этот трепет так меня трепал,
в мои слова вставлял свои ошибки,
моей ногой приплясывал, мешал
губам соединиться для улыбки.

Сосед мой, перевесившись в пролет,
следил за мной брезгливо, но
без фальши.

Его я обнадежила:
— Пролог
вы наблюдали. Что-то будет дальше?

Моей болезни не скучал сюжет!
В себе я различала взглядом скорбным
мельканье диких и чужих существ,
как в капельке воды под микроскопом.

Все тяжелей меня хлестала дрожь,
вбивала в кожу острые гвоздочки.
Так по осине ударяет дождь,
наказывая все ее листочки.

Я думала: как быстро я стою!
Прочь мускулы несутся и режутся!
Мое же тело, свергнув власть мою,
ведет себя свободно и развязно.

Оно все дальше от меня! А вдруг
оно исчезнет вольно и опасно,
как ускользает шар из детских рук
и ниточку разматывает с пальца?

Все это мне не нравилось.
Врачу
сказала я, хоть перед ним робела:
— Я, знаете, горда и не хочу
сносить и впредь непослушанье тела.

Врач объяснил:
— Ваша болезнь проста.
Она была бы вовсе безобидна,
Но ваших колебаний частота
препятствует осмотру — вас не видно.

Вот так, когда вибрирует предмет
и велика его движений малость,
он зрительно почти сведен на нет
и выглядит как слабая туманность.

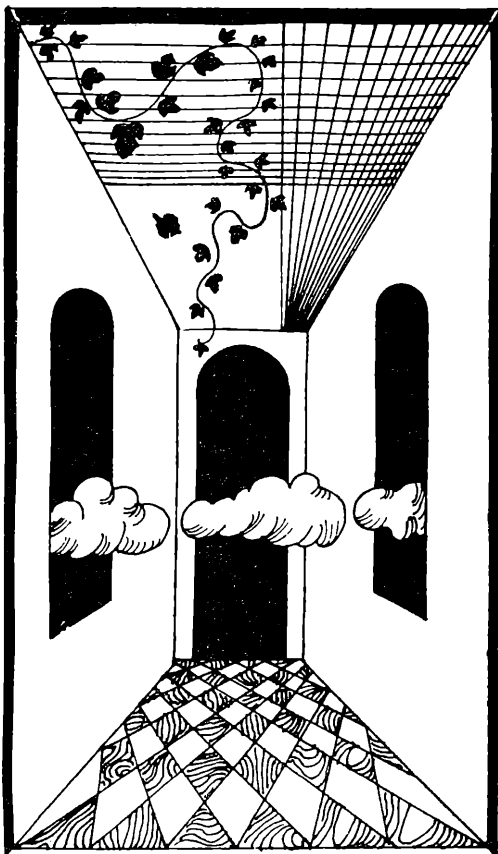
Врач подключил свой золотой прибор
к моим предметам неопределенным,
и острый электрический прибор
охладил меня огнем зеленым.

И ужаснулись стрелка и шкала!
Взыграла ртуть в неистовом подскоке!
Последовал предсмертный всплеск стекла,
и кровь из пальцев высекли осколки.

Встревожься, добрый доктор, оглянись!
Но он, не озадаченный нимало,
провозгласил:
— Ваш бедный организм
сейчас функционирует нормально.

Мне стало грустно. Знала я сама
свою причастность к этой высшей норме.
Не уместаясь в узости ума,
плыл надо мной ее чрезмерный номер.

И, многозначной цифрою мытарств
Наученная, нервная система,
пробившись, как пружины сквозь матрац,
рвала мне кожу и вокруг свистела.



Уродующий кисть огромный пульс
всегда гудел, всегда хотел на волю.
В конце концов казалось: к черту! Пусть
им захлебнусь, как Петербург Невую!

А по ночам — мозг наострится, ждет.
Слух так открыт, так взвинчен тишиною,
что, скрипнет дверь иль книга упадет,
и — взрыв! и — все! и — кончено со мною!

Да, я не смела укротить зверей,
в меня вселенных, жрущих кровь из мяса.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув,
гасла!

В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я все собою портила! Я рай
растлила б грозным неуютом ада.

Врач выписал мне должную латынь,
и с мудростью, цветущей в человеке,
как музыку по нотным запятым,
ее читала девушка в аптеке.

И вот теперь разнежен весь мой дом
целебным поцелуем валерьяны,
и медицина мятным языком
давно мои зализывает раны.

Сосед доволен, третий раз подряд
он поздравлял меня с выздоровленьем
через своих детей и, говорят,
хвалил меня пред домоуправленьем.

Я отдала визиты и долги,
ответила на письма. Я гуляю,
особо, с пользой делая круги.
Вина в шкафу держать не позволяю.

Вокруг меня — ни звука, ни души.
И стол мой умер и под пылью скрылся.
Уставили во тьму карандаши
тупые и неграмотные рыльца.

И, как у побежденного коня,
мой каждый шаг медлителен, стреножен.
Все хорошо! Но по ночам меня
опасное предчувствие тревожит.

Мой врач еще меня не уличил,
но зря ему я голову морочу,
ведь все, что он лелеял и лечил,
я разом обожгу иль обморожу.

Я, как улитка в костяном гробу,
спасаюсь слепотой и тишиною,
но, поболев, пощекотав во лбу,
рога антенн воспрянут надо мною.

О звездопад всех точек и тире,
зову тебя, осыпья! Пусть я сгину,
подрагивая в чистом серебре
русалочьих мурашек, жгущих спину!

Ударь в меня, как в бубен, не жалея,
озноб, я вся твоя! Не жить нам розно!
Я балерина музыки твоей!
Щенок озябший твоего мороза!

Пока еще я не дрожу, о нет,
сейчас о том не может быть и речи.
Но мой предусмотрительный сосед
уже со мною холоден при встрече.

* * *

Так дурно жить, как я вчера жила,—
в пустом пиру, где все мертвы друг к другу
и пошлости нетрезвая жара
свистит в мозгу по замкнутому кругу.

Чудовищем ручным в чужих домах
нести две влажных черноты в глазницах
и пребывать не сведеньем в умах,
а вожденной притчей во языцех.

Довольствоваться роскошью беды —
в азартном и злорадном нераденье
следить за увяданием звезды,
втемяшенной в мой разум при рожденье.

Вслед чуждой воле, как в петле лассо,
понурить шею среди пекл безводных,
от скудных скверов отвращать лицо,
не смея быть при детях и животных.

Пережимать иссякшую педаль:
без тех, без лучших, мыкалась по свету,
а без себя? Не велика печаль!
Уж не копить ли драгоценность эту?

Дразнить плащом горячий гнев машин,
и снова выжить, как это ни сложно
под доблестной защитой мужчин,
что и в невесты брать неосторожно.

Всем лицемерьем искушать беду,
но хитрой слепотою дальновидной
надеясь, что будет ночь в саду
опять слагать свой лепет деловитый.

Какая тайна влюблена в меня,
чьей выгоде мое спасенье сладко,
коль мне дано по окончанье дня
стать оборотнем, алчущим порядка?

О, вот оно! Деревья и река
готовы выдать тайну вековую,
и с первобытной меткостью рука
привносит пламя в мертвость восковую.

Подобострастный бег карандаша
спешит служить и жертвовать длиною.
И так свежа суровая душа,
словно сейчас излучена луною.

Терзая зреньем небо и леса,
всему чужой, иноязычный идол,
царю во тьме огромностью лица,
которого никто другой не видел.

Пред днем былым не ведаю стыда,
пред новым днем не знаю сожаленья
и медленно стираю прядь со лба
для пущего удобства размышленья.

УРОКИ МУЗЫКИ

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня,—
озябшею гортанью
не говорю: тебя -- как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лед глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)
Не ладили две равных темноты:
рояль и ты — два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.
Два мрачных исподлобья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты — две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.
Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до-диез
мизинец свой не окунет союзник.
А ты — одна. Тебе — подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотечение звука.
Марина, до! До — детства, до — судьбы,
до — ре, до — речи, до — всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет,—

о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.
Марина, это все — для красоты
придумано, в расчете на удачу
раз накричаться: я — как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да — плачу.

СЛОВО.

«Претерпевая медленную юность,
 вступаю я то в дерзость, то в угрюмость,
 пишу стихи, мне говорят: порви!
 А вы так просто говорите слово,
 вас любит ямб, и жизнь к вам
благосклонна»,—
 так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,
 хозяевам вслепую спать мешая,
 о воздух спотыкаясь, как о пень,
 стыдясь своей громоздкой неудачи,
 над каждой книгой обмирая в плаче,
 я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь — в Перми живет ребенок
странный,
 владеющий высокой и пространной,
 невнятной речью, и, когда горит
 огонь созвездий, принятых над Пермью,
 озябшим горлом, не способным к пенью,
 ребенок это слово говорит.

Как говорит ребенок! Неужели
 во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
 гортани, погруженной в темноту,
 была такая чистота проема,
 чтоб уместить во всей красе объема
 всезнающего слова полноту?

О нет, во мне — то всхлип, то хрип,
и снова
насущенный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю — и обагрю платок.
В безмолвие, как в землю, погребенной,
мне странно знать, что есть в Перми
ребенок,
который слово выговорить мог.

НЕМОТА

Кто же был так силен и умен?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нем
рана черная в горле моем.

Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады — словари.

— О, воспой! — умоляю уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, — но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Вдохновенья — чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасет ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Задыхаюсь, и дохну, и лгу,
что еще не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во все, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла,—
сами, сами воспойте меня.

ПЕЙЗАЖ

Еще ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

О, как люблю я пребыванье рук
в блаженстве той свободы пустяковой,
когда былой уже закончен труд
и — лень и сладко труд затеять новый.

Как труд былой томил меня своим
небыстрым ходом! Но — за проволочку —
теперь сполна я расквиталась с ним,
пощечиной в него влепивши точку.

Меня прощает долгожданный сон.
Целует в лоб младенческая легкость.
Свободен — легкомысленный висок.
Свободен — спящий на подушке локоть.

Смотри, природа, — розов и мордаст,
так кротко спит твой бешеный сангвиник,
всем утомленьем вклеившись в матрац,
как зуб в десну, как дерево в суглинок.

О, спать да спать, терпеть счастливый
гнет
неведенья рассудком безрассудным.
Но день воскресный уж баклуши бьет
то детским плачем, то звонком посудным.

Напялив одичавший неуют
чужой плечам, остывшей за ночь кофты,
хозяйки, чтоб хозяйничать, встают,
и пробуждает ноздри запах кофе.

Пора вставать! Бесстрастен и суров,
холодный душ уже развешил розги.
Я прыгаю с постели, как в сугроб —
из бани, из субтропиков — в морозы.

Под гильотину ледяной струи
с плеч голова покорно полетела.
О умывальник, как люты твои
чудовища — вода и полотенце.

Прекрасен день декабрьской теплоты,
когда туманы воздух утолщают
и зрелых капель чистые плоды
бесплодые зимних веток утешают.

Ну что ж, земля, сегодня — отдых мой,
ликую я — твой добрый обыватель,
вдыхатель твоей влажности густой,
твоих сосулк теплых обрыватель.

Дай созерцать твой белый свет и в нем
не обнаружить малого пробела,
который я, в усердии моем,
восполнить бы желала и умела.

Играя в смех, в иные времена,
нога ледок любовно расколола.
Могуществом кофейного зерна
язык так пьян, так жаждет разговора.

И, словно дым, затмивший недра труб,
глубоко в горле возникает голос.

Ко мне крадется ненасытный труд,
терпящий новый и веселый голод.

Ждет насыщенья звуком немота,
зияя пустотою, как скворечник,
весну корящий,— разве не могла
его наполнить толчеей сердечек?

Прощай, соблазн воскресный! Меж дерев
мне не бродить. Но что все это значит?
Бумаги белый и отверстый зев
ко мне взывает и участия алчет.

Иду — поить губами клюв птенца,
наскучившего и опять родного.
В ладонь склоняясь тяжестью лица,
я из безмолвья вызволяю слово.

В неловкой позе у стола присев,
располагаю голову и плечи,
чтоб обижал и ранил их процесс,
к устам влекущий восхождение речи.

Я — мускул, нужный для ее затей.
Речь так спешит в молчанье не погибнуть,
свершить звукорождение и затем
забыть меня навеки и покинуть.

Я для нее — лишь дудка, чтоб дудеть.
Пускай дудит и веселит окрестность.
А мне опять — заснуть, как умереть,
и пробудиться утром, как воскреснуть.

СУМЕРКИ

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? — неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далекий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья,—
бери себе другое — и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллеи старины,
бреду по ним. И встречающая старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место,
но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды,—
чьи пальчики по клавишам лепечут?
Чьи кружева вступают в круг беды?

В ОПУСТЕВШЕМ ДОМЕ ОТДЫХА

Впасть в обморок беспамятства, как плод,
уснувши тихо средь ветвей и грядок,
не сознавать свою живую плоть,
ее чужой и грубый беспорядок.

Вот яблоко, возникшее вчера.

В нем — мышцы влаги, красота пигмента,
то тех, то этих действий толчея.

Но яблоку так безразлично это.

А тут, словно с оравой детей,
не совладаешь со своим же телом,
не предусмотритишь всех его затей,
не расплетишь его переплетений.

И так надоедает под конец
в себя смотреть, как в пациента лекарь,
все время слышать треск своих сердец
и различать щекотный бег молекул.

И отвернуться хочется уже,
вот отвернусь, но любопытно глазу.

Так музыка на верхнем этаже
мешает и заманивает сразу.

В глуши, в уединении моем,
под снегом, вырастающим на кровле,
живу одна и будто бы вдвоем —
со вздохом в легких, с удареньем крови.

То улыбнусь, то пискнет голос мой,
то бьется пульс, как бабочка в ладони.

Ну, слава богу, думаю, живой
остался кто-то в опустевшем доме.

И вот тогда тебя благодарю,
мой организм, живой зверек природы,

верши, верши простую жизнь свою,
как солнышко, как лес, как огороды.
И впредь играй, не ведай немоты!
В глубоком одиночестве, зимою,
я всласть повеселюсь среди пустоты,
тесно и шумно населенной мною.

ЗИМА

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И все сильнее соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и прикипать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота
и, завершив, прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днем,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нем
его оттенком малым.

**Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслоненный мною.**

ЗИМНЯЯ ЗАМКНУТОСТЬ

Б. Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занес мою крышу еще в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно
возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например, я зерно моим птицам несла,
«Можно ль выйти наружу?» — спросила.
«Нельзя», —
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый
гость.
Он прошел через стенку насквозь, словно
гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же еще оставалось ему,
коль в доме, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость — он в гостях не гостил,
а царил.
Он огнем исцелил свой промокший
цилиндр,

из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться
рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —
вот мой маленький юг среди вьюг
справедливых.

Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, возвращенный в нездешних
заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте,
мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны
к следам
мои ноги промокшие. Весь я — загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне
не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба».
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить
вина.

Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!

Вы — дитя мое, баловень и протезе.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.
Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью
белел —

ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злomu сиротству сестра?
Как остра эта грусть — озираться со сна
среди стихии чужой, а к своей
не пробиться.

О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном — благодарна я доброй
судьбе.

Я живу, как желаю, — сама по себе.
Бог ко мне справедлив, и любезен издатель.
Старый пес мой взмывает к щеке, как
щенок.

И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест
и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.
Зря боялась — а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моем разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал,
что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьет
в Ленинграде.

И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны
теперь».

В это время открылась закрытая дверь.
Снег все падал и падал, не зная убытка.
Сколь сошедшего облик был смел и хорош!
И влекла петербургская кожа калош
след — лукавый и резвый, как будто
улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтет,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин!
Я подумала — скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть
расставаньям!»

СОН

О, опрометчивость моя!
Как видеть сны мои решаюсь?
Так дорого платить за шалость —
заснуть? Но засыпаю я.

И снится мне, что свеж и скуп
сентябрьский воздух. Все знакомо:
осенняя пригожесть дома,
вкус яблок, не сходящий с губ.

Но незнакомый садовод
возделывает сад знакомый
и говорит, что он законный
владелец. И войти зовет.

Войти? Как можно? Столько раз
я знала здесь печаль и гордость,
и нежную шагов нетвердость,
и нежную незрячесть глаз.

Уж минуло так много дней,
а нежность — облаком вчерашним,
а нежность — обмороком влажным
меня омыла у дверей.

Но садоводова жена
меня приветствует жеманно.
Я говорю: — Как здесь туманно...
И я здесь некогда жила.

Я здесь жила — лет сто назад.

— Лет сто? Вы шутите?

— Да нет же!

Шутить теперь? Когда так нежно
столетием прошлым пахнет сад?

Сто лет прошло, а все свежи
в ладонях нежности — к родимой
коре деревьев, запах дымный
в саду все тот же.

— Не скажи! —

промолвил садовод в ответ.

Затем спросил: — Под паутиной,
со старомодной челкой длинной,
не ваш ли в чердаке портрет?

Ваш сильно изменился взгляд
с тех давних пор, когда в кручине,
не помню, по какой причине,
вы умерли — лет сто назад.

— Возможно, но — жить так давно,
лишь тенью в чердаке остаться,
и все затем, чтоб не расстаться
с той нежностью? Вот что смешно.

* * *

Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растения,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рождения.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный бог,
имевший цель улыбки и приветя.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка бога,
что прядь со лба — чтоб легче

целовать —

я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

НОЧЬ

Уже рассвет темнеет с трех сторон,
а все руке недостает отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший
над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затянуть ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и невредим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он все ж не счел достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна
малость —
нарушить этой ночи безымянность
и все, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством
женским,

красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и кланчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль — под пыткой немоты
все ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, средь снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне бог бесстыдства пред листом
бумаги беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

ПЛОХАЯ ВЕСНА

Пока клялись беспечные снега
блистать и стыть с прилежностью металла,
пока пуховой шали не сняла
та девочка, которая мечтала
склонить к плечу оранжевый берет,
пустить на волю локти и колени,
чтоб не ходить, но совершать балет
хожденья по оттаявшей аллее,
пока апрель не затевал возни,
угодной насекомым и растеньям,—
взяв на себя несчастный труд весны,
безумцем становился неврастеник.

Среди гардин зимы, среди гордынь
сугробов, ледоколов, конькобежцев,
он гнев весны претерпевал один,
став жертвою ее причуд и бешенств.

Он так поспешно окна открывал,
как будто смерть предпочитал неволе,
как будто бинт от кожи отрывал,
не устояв перед соблазном боли.

Что было с ним, сорвавшим жалюзи?
То ль сильный дух велел искать исхода,
то ль слабость щитовидной железы
выпрашивала горьких лакомств йода?

Он сам не знал, чьи силы, чьи труды
владеют им. Но говорят преданья,

что, ринувшись на поиски беды,
как выгоды он возжелал страданья.

Он закричал: — Грешна моя судьба!
Не гений я! И, стало быть, впустую,
гордясь огромной выпуклостью лба,
лелеял я лишь опухоль слепую!

Он стал бояться перьев и чернил.
Он говорил в отчаянной отваге:
— О господи! Твой худший ученик,
я никогда не оскверню бумаги.

Он сделался неистов и угрюм.
Он все отринул, что грозит блаженством.
Желал он мукой обострить свой ум,
побрезговав его несовершенством.

В груди птенцы пищали: не хотим!
Гнушаясь их красою бесполезной,
вбивал он алкоголь и никотин
в их слабый зев, словно сапог железный.

И проклял он родимый дом и сад,
сказав: — Как страшно просыпаться утром!
Как жжется этот раскаленный ад,
который именуется уютом.

Он жил в чужом дому, в чужом саду,
и тем платил хозяйке любопытной,
что, голый и огромный, на виду
у всех вершил свой пир кровопролитный.

Ему давали пищи и питья,
шептались меж собой, но не корили
затем, что жутким будням их бытья
он приходился праздником корриды.

Он то в пустой пельменной горевал,
то пил коньяк в гостиных полусвета,
и понимал, что это — гонорар
за представленье: странности поэта.

Ему за то и подают обед,
который он с охотою съедает,
что гостя, умница, искусствовед,
имеет право молвить: — Он страдает!

И он страдает. Об острие угла
разбил он лоб, казня его ничтожность,
но не обрел достоинства ума
и не изведал истин непреложность.

Проснувшись ночью в серых простынях,
он клял дурного мозга неприличье,
и высоко над ним плыл Пастернак
в опрятности и простоте величья.

Он снял портрет и тем отверг упрек
в проступке суеты и нетерпенья.
Виновен ли немой, что он не мог
использовать гортань для песнопенья?

Его встречали в чайных и пивных,
на площадях и на скамьях вокзала.

И, наконец, он головой поник,
и так сказал (вернее, я сказала):
— Друзья мои, мне минет тридцать лет,
увы, итог тридцатилетья скуден.
Мой подвиг одиночества нелеп,
и суд мой над собою безрассуден.

Бог точно знал, кому какая честь,
мне лишь одна немного и немало:
всегда пребуду только тем, что есть,
пока не стану тем, чего не стало.

Так в чем же смысл и польза этих мук,
привнесших в кожу белый шрам ожога?
Уверен в том, что мимолетный звук
мне явится, и я скажу: так много?

Затем свечу зажгу, перо возьму,
судьбе моей воздам благодаренье,
припомню эту бедную весну
и напишу о ней стихотворенье.

СНЕГОПАД

Снегопад свое действие начал
и еще до свершения тьмы
Переделкино переименовал
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма дерев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не села, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опротечиво медлит душа.

* * *

Я думаю: как я была глупа,
когда стыдилась собственного лба —
зачем он так от гения свободен?
Сегодня, став взрослее и трезвей,
хочу обедать посреди друзей.
Лишь их привет мне сладок и угоден.
Мне снился сон: я мучаюсь и мчусь,
лицейскою возвышенностью чувств
пылает мозг в честь праздника простого.
Друзья мои, что так добры ко мне,
должны собраться в маленьком кафе
на площади Восстанья в полшестого.
Я прихожу и вижу: собрались.
Благословляя красоту их лиц,
плач нежности стоит в моей гортани.
Как встарь, моя кружится голова.
Как встарь, звучат прекрасные слова
и пенье очарованной гитары.
Я просыпаюсь и спешу в кафе,
я оставляю шапку в рукаве,
не ведая сомнения пустого.
Я твердо помню мой недавний сон
и стол прошу накрыть на пять персон
на площади Восстанья в полшестого.
Я долго жду и вижу жизнь людей,
которую прибоем площадей
выносит вдруг на мой пустынный остров.
Так мне пришлось присвоить новость встреч,
чужие тайны и чужую речь,
борьбу локтей неведомых и острых.

Вошел убийца в сером пиджаке.
Убитый им сидел невдалеке.
Я наблюдала странность их общенья.
Промолвил первый: — Вот моя рука,
но все ж не пейте столько коньяка.—
И встал второй и попросил прощенья.
Я у того, кто встал, спросила:

— Вы

однажды не сносили головы,
неужто с вами что-нибудь случится? —
Он мне сказал:

— Я узник прежних уз.

Дитя мое, я, как тогда, боюсь,—
не я ему, он мне ночами снится.

Я поняла: я быть одна боюсь.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
О, смилуйтесь, хоть вы не обещали.
Совсем одна, словно Мальмгрен во льду,
заточена, словно мигрень во лбу.
Друзья мои, я требую пощады!
И все ж, пока слагать стихи смогу,
я вот как вам солгу иль не солгу:
они пришли, не ожидая зова,
сказали мне: — Спешат твои часы.—
И были наши помыслы чисты
на площади Восстанья в полшестого.

* * *

Как долго я не высыпалась,
писала медленно, да зря.
Прощай, моя высокопарность!
Привет, любезные друзья!

Да здравствуют любовь и легкость!
А то всю ночь в дыму сижу,
и тяжело тащится мой локоть,
строку влача, словно баржу.

А утром, свет опережая,
всплывает в глубине окна
лицо мое, словно чужая,
предсмертно белая луна.

Не мил мне чистый снег на крышах,
мне тяжело мое чело,
и все затем, чтоб добрый критик
не понял в этом ничего.

Ну нет, теперь беру тетрадку
и, выбравши любой предлог,
описываю по порядку
все, что мне в голову придет.

Я пред бумагой не робею
и опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед.

Он был настолько выше быта
и так воспитан и умен,
что обошла его обида
былых и нынешних времен.

Он обещал мне, что наука,
известная его уму,
откроет мне, какая мука
угодна сердцу моему.

С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.

Пока с меня пальто снимала
их просвещенная семья,
ждала я знака и сигнала,
чтобы понять, при чем здесь я.

Но, размышляя мимолетно,
я поняла мою вину:
что ж за обед без рифмоплета
и мебели под старину?

Все так и было: стол накрытый
дышал свечами, цвел паркет,
и чужеземец именитый
молчал, покуривая «Кент».

Литературой мы дышали,
пока хозяин вел нас в зал,

и говорил о Мандельштаме,
Цветаеву он также знал.

Он оценил их одаренность,
и, некрасива, но умна,
познавья тяжкую огромность
делила с ним его жена.

Я думала: «Господь вседобрый!
Прости мне разум, полный тьмы,
вели, чтобы соблазн съедобный
отвлек от мысли их умы.

Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть.

Придвинув спину к их камину,
пока не пробил час поэм,
за Мандельштама и Марину
я отогреюсь и поем.

И, озирая мир кромешный,
используй, боже, власть твою,
чтоб нас простил их прах безгрешный
за то, что нам не быть в раю».

В прощенье мне теплом собрата
повеяло, и со двора
вошла прекрасная собака
с душой, исполненной добра.

Затем мы занялись обедом.
Я и хозяин пили ром,
нет, я пила, он этим ведал,
и все же разразился гром.

Он знал: коль ложь не бестолкова,
она не осквернит уста,
я знала: за лукавство слова
наказывает немота.

О, сокрушаясь бесполезно,
стал разум мой учить уму,
и я ответила любезно:
«Потом, мой друг, когда умру,

вы мне успеете ответить.
Но как же мне с собою быть?
Ведь перед тем, как мною ведать,
вам следует меня убить».

Мы помирились в воскресенье.
— У нас обед. А что у вас?
— А у меня стихотворенье.
Оно написано как раз.

ОПИСАНИЕ НОЧИ

Глубокий плюш казенного Эдема,
развязный грешник, я взяла себе
и хищно и неопытно владела
углом стола и лампой на столе.
На каторге таинственного дела
о вечности радел петух в селе,
и, пристальная, как монгол в седле,
 всю эту ночь я за столом сидела.

Всю ночь в природе длился плач раздора
между луной и душами зверей,
впадали в длинный воздух коридора,
исторгнутые множеством дверей,
течения полунощного вздора,
что спит в умах людей и словарей,
и пререкались дактиль и хорей —
кто домовый и правит бредом дома.

Всяк спящий в доме был чему-то автор,
но ослабел для совершенья сна,
из глуби лбов, как из отверстых амфор,
рассеивалась спертость ремесла.
Обожествляла влюбчивость метафор
простых вещей невзрачные тела.
И постояльца прежнего звала
его тоска, дичавшая за шкафом.

В чем важный смысл чудовищной затеи:
вникать в значенье света на столе,

участвовать, словно в насущном деле,
в судьбе светил, играющих в окне,
и выдержать такую силу в теле,
что тень его внушила шрам стене!
Не знаю. Но еще зачтется мне
бесславный подвиг сотворенья тени.

* * *

Наскучило уже, да и некстати
о знаменитом друге рассуждать.
Не проще ль в деревенской благодати
бесхитростно писать слова в тетрадь —

при бабочках и при окне открытом,
пока темно и дети спать легли...
О чем, бишь? Да, о друге знаменитом.
Свирепей дружбы в мире нет любви.

Весь вечер спор, а вам еще не вдоволь,
и все о нем, и все в укор ему.
Любовь моя — вот мой туманный довод.
Я не учена вашему уму.

Когда б досель была я молодая,
все б спорила до расцветенья щек.
А слава что? Она — молва худая,
но это тем, кто славен, не упрек.

О грешной славе рассуждайте сами,
а я ленюсь, я молча посижу.
Но чтоб вовек не согласиться с вами,
что сделать мне? Я сон вам расскажу.

Зачем он был так грозно вероятен?
Тому назад лет пять уже иль шесть
приснилось мне, что входит мой приятель
и говорит: — Страшись. Дурная весть.

— О нем? — О нем.— И дик и слабоумен
стал разум. Сердце прервалось во мне.
Вошедший строго возвестил: — Он умер.
А ты — держись. Иди к его жене.

Глаза жены серебряного цвета:
зрачок ума и сумрак голубой.
Во славу знаменитого поэта
мой смертный крик вознесся над землей.

Домашние сбежались. Ночь крепчала.
Мелькнул сквозняк и погубил свечу.
Мой сон прошел, а я еще кричала.
Проходит жизнь, а я еще кричу.

О, пусть моим необратимым прахом
приснюсь себе иль стану наяву —
не дай мне бог моих друзей оплакать!
Все остальное я переживу.

Что мне до тех, кто правы и сердиты?
Он жив — и только. Нет за ним вины.
Я воспою его. А вы — судите.
Вам по ночам другие снятся сны.

МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

Замечаю: душа не прочна
и прервется. Но как не заметить,
что не надо, пора не пришла
торопиться, есть время помедлить.

Прежде было — страшусь и спешу:
есмы сегодня, а буду ли снова?
И на казнь посылала свечу
ради тщетного смысла ночного.

Как умна — так никто не умен,
полагала. А снег осыпался.
И остался от этих времен
горб — натруженность среднего пальца.

Прочитаю добытое им —
лишь скучая, но не сострадаю,
и прошу: тот, как молод — любим.
А тогда я была молодая.

Отбыла, отспешила. К душе
льнет прилив незатейливых истин.
Способ совести избран уже
и теперь от меня не зависит.

Сам придет этот миг или год:
смысл нечаянный, нега, вершинность...
Только старости недостает.
Остальное — давно совершилось.

* * *

В той тоске, на какую способен
человек, озираясь с утра
в понедельник, зимою,
спросонок,
в том же месте судьбы,
что вчера...

Он-то думал,
что некий гроссмейстер,
населивший пустой небосвод,
его спящую душу заметит
и спасительно двинет вперед.

Но сторонняя мощь
сновидений,
ход светил и раздор государств
не внесли никаких изменений
в череду его скудных мытарств.

Отхлебнув молока из бутылки,
он способствует этим тому,
что, болевшая ночью в затылке,
мысль нужды приливает к уму.

Так зачем над его колыбелью,
прежде матери, прежде отца,
оснащенный звездой
и свирелью,
кто-то был и касался лица? —
Чиркнул быстрым ожогом
над бровью,

улыбнулся и скрылся вдали.
Прибежали на крик
к изголовью —
и почтительно прочь отошли.

В понедельник,
в потемках рассвета,
лбом уставясь в осколок стекла,
видит он, что алмазная мета
зажила и быльем поросла.

...В той великой,
с которою слада
не бывает, в тоске — на века,
я брела в направленье детсада
и дитя за собою влекла.

Розовело во мгле небосвода.
Возжигатель грядущего дня,
вождь метели,
зачинщик восхода,
что за дело тебе до меня?

Мне отвечивал
свет безмятежный,
и указывал свет или смех,
что еще молодою и нежной
я ступлю на блистающий снег,
что вблизи, за углом поворота,
ждет меня несказанный удел.
Полыхнуло во лбу моем что-то,
и прохожий
мне вслед поглядел.

* * *

Однажды, покачнувшись на краю
всего, что есть, я ощутила в теле
присутствие непоправимой тени,
куда-то прочь теснившей жизнь мою.

Никто не знал, лишь белая тетрадь
заметила, что я задула свечи,
зажженные для сотворенья речи,—
без них я не желала умирать.

Так мучилась! Так близко подошла
к скончанью мук! Не молвила ни слова.
А это просто возраста иного
искала неокрепшая душа.

Я стала жить и долго проживу.
Но с той поры я мукою земною
зову лишь то, что не воспето мною,
все прочее — блаженством я зову.



Стихотворения чудный театр,
нежься и кутайся в бархат дремотный.
Я ни при чем, это занят работой
чуждых божеств несравненный талант.

Я лишь простак, что извне приглашен
для сотворенья стороннего действия.
Я не хочу! Но меж звездами где-то
грозную палочку взял дирижер.

Стихотворения чудный театр,
нам ли решать, что сегодня сыграем?
Глух к наставленьям и недосыпаем
в музыку нашу влюбленный тиран.

Что он диктует? И есть ли навес —
нас упасти от любви его лютой?
Как помыкает безграмотной лютней
безукоризненный гений небес!

Стихотворения чудный театр,
некого спрашивать: вместо ответа —
мука, когда раздирают отверстья
труб — для рыданья и губ — для тирад.

Кончено! Лампы огня не таят.
Вольно! Прощаюсь с божественным игом.
Вкратце — всей жизнью и смертью — разыгран
стихотворения чудный театр.

НОЧЬ ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

Сегодня, покуда вы спали, надеюсь,
как всадник в дозоре, во тьму я глядела.
Я знала, что поздно, куда же я денусь
от смерти на сцене, от брэнного дела!

Безгрешно рукою водить вдоль бумаги.
Писать — это втайне молиться о ком-то.
Запеть напоказ — провиниться в обмане,
а мне не дано это и неохота.

И все же для вас я удобство обмана.
Я знак, я намек на былое, на Сороть,
как будто сохранны Марина и Анна
и нерасторжимы словесность и совесть.

В гортани моей, неумелой да чистой,
жил призыв старинного русского слова.
Я призрак двусмысленный и неказистый
поэтов, чья жизнь не затеется снова.

За это мне выпало нежности столько,
что будет смертельней, коль пуще и больше.
Сама по себе я немного стою.
Я старый глагол в современной обложке.

О, только за то, что душа не лукава
и бодрствует, благословляя и мучась,
не выбирая, где милость, где кара,
на время мне посланы жизнь и живучесть.

Но что-то творится меж вами и мною,
меж мною и вами, меж всеми, кто живы.
Не проще ли нам обойтись тишиною,
чтоб губы остались свежи и не лживы?

Но коль невозможно, коль вам так угодно,
возьмите мой голос, мой голос последний!
Вовеки я буду добра и свободна,
пока не уйду от вас сколько-то-летней...

* * *

Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.

Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий,
но обойди твоей опекой жгучей
двух девочек, замаранных малиной.

Еще смеются, рыщут в листьях ягод
и вдруг, как я, глядят с такой же грустью
Как все, хотела и поила грудью,
хотела — медом, а вспоила — ядом.

Непоправима и невероятна
в их лицах мета нашего единства.
Уж коль ворона белой уродится,
не дай ей бог, чтоб были воронята.

Белеть — нелепо, а чернеть — не ново,
чернеть — недолго, а белеть — безбрежно.
Все более я пред людьми безгрешна,
все более я пред детьми виновна.

* * *

Я вас люблю, красавицы столетий,
за ваш небрежный выпорх из дверей,
за право жить, вдыхая жизнь соцветий
и на плечи накинув смерть зверей.

Еще за то, что, стиснув створки сердца,
клад бытия не отдавал моллюск,
открыть и вынуть — вот простое средство
быть в жемчуге при свете бальных люстр.

Как будто мало ямба и хорей
ушло на ваши души и тела,
на каторге чужой любви старея,
о, сколько я стихов перевела!

Капризны ваши шеи, губы, щеки,
смесь чудную коварства и проказ —
я все воспела! Мы теперь в расчете!
Последний раз благословляю вас!

Кто знал меня, тот знает, кто нимало
не знал — поверит, что я жизнь мою,
всю напролет, навытяжку стояла
пред женщиной, да! — и теперь стою.

Не время ли присесть, заплакать, с места
не двинуться? Не в мочь мне, говорю,
быть тем, что есть, и вожаком семейства,
вобравшее зверье и детвору.

Наскучило чудовищем бесполом
быть другом, братом, сводником, сестрой,
то нежничать, то враждовать с глаголом
пред тем, как стать травой и сосной.

Машинки, взятой в ателье проката,
подстрочников и прочего труда —
я не хочу! Я делаюсь богата,
неграмотна, пригожа и горда.

Я выбираю — поступаясь талантом,
стать оборотнем с розовым зонтом,
с кисейным бантом и под ручку с франтом!
А что есть ямб — знать не хочу о том!

Лукавь, мой франт! Опутывай! Не мешкай!
Я скрою от незрячести твоей,
какой повадкой и какой усмешкой
владею я! Я — друг моих друзей!

Красавицы, ах, это все неправда.
Я знаю вас — вы верите словам.
Неужто я покину вас на франта?
Он и в подруги не годится вам.

Люблю, когда ступая, как летая,
проноситеесь, смеясь и лепеча...

Суть женственности вечно золотая —
всех, кто поэт, священная свеча.

Обзавестись бы вашими правами,
чтоб стать, как вы, и в этом преуспеть!
Но кто, как я, сумеет встать пред вами?
Но кто, как я, посмеет вас воспеть?

•

ОСЕНЬ

Бьют часы, возвестившие осень:
тяжелее, чем в прошлом году,
ударяется яблоко оземь —
столько раз, сколько яблок в саду.

Этой музыкой, внятной и важной,
кто твердит, что часы не стоят?
Совершает поступок отважный,
но как будто бездействует сад.

Все заметней в природе печальной
выраженье любви и родства,
словно ты — не свидетель случайный,
а виновник ее торжества.

ПРЕРЕКАНИЕ С КРЫМОМ

Перед тем, как ступить на балкон,
я велю тебе, богово чудо,
пребывай в отчужденье благом!
Не ищи моего пересуда.

Не вперяй в меня рай голубой,
постыдись этой детской уловки.
Я-то знаю твой кроткий разбой,
добывающий слово из глотки.

Мне случалось с тобой говорить,
проболтавшийся баловень пыток,
смертным выдохом ран горловых
я тебе поставляла эпитет.

Но довольно! Всесветлый объем
не тарашь и предайся блаженству.
Хватит рыскать в рассудке моем
похвалы твоему совершенству.

Не упорствуй, не шарь в пустоте,
выпит мед из таинственных амфор.
И по чину ль твоей красоте
примерять украшенье метафор?

Знает тот, кто в семь дней сотворил
семицветие белого света,
как голодным тщеславьем твоим
клянчишь ты подаяний поэта?

Прогоняю, стращаю, клянусь,
выхожу на балкон. Озираюсь.
Вижу дерево, море, луну,
их беспмятство и безымянность.

Плачу, бедствую, гибну почти,
говорю: о, даруй мне пощаду —
погуби меня, только прости!
И откуда-то слышу: — Прощаю...

СНИМОК

Улыбкой юности и славы
чуть припугнув, но не отторгнув,
от лени или для забавы
так села, как велел фотограф.
Лишь в благоденствии и лете,
при вечном детстве небосвода,
клянется ей в Оспедалетти
апрель двенадцатого года.

Сложила на коленях руки,
глядит из кружевного нимба.
И тень ее грядущей муки
защелкнута ловушкой снимка.

С тем — через «ять» — сырым
и нежным
апрелем слившись воедино,
как в январе окаменевшем,
она пребудет невредима.

И, запоздалый соглядатай,
застанет на исходе века
тот профиль нежно-угловатый,
вовек сохранный в сгустке света.

Какой покой в нарядной даме,
в чьем четком облике и лике
прочешь известие о даре
так просто, как название книги.

Кто эту горестную мету,
оттиснутую без помарок,
и этот лоб, и челку эту
себе выпрашивал в подарок?

Что ей самой в ее портрете?
Пожмет плечами: как угодно!
И выведет: Оспедалетти.
Апрель двенадцатого года.

Как на земле свежо и рано!
Грядущий день, дай ей отсрочку!
Пускай она допишет: «Анна
Ахматова»,— и капнет точку.

* * *

Опять сентябрь, как тьму времен назад,
и к вечеру мужает юный холод.
Я в таинствах подозреваю сад:
все кажется — там кто-то есть и ходит.

Мне не страшней, а только веселей,
что призраком населена округа.
Я в доброте моих осенних дней
ничьи шаги приму за поступь друга.

Мне некого спросить: а не пора ль
списать в тетрадь — с последнею росой
траву и воздух, в зримую спираль
закрученный неистовой осою.

И вот еще: вниманье чьих очей,
воспринятое некогда луною,
проделало обратный путь лучей
и на земле увиделось со мною?

Любой, чье зренье вобрала луна,
свободен с обожаньем иль укором
иных людей, иные времена
оглядывать своим посмертным взором.

Не потому ль в сиянье и красе
так мучат нас ее пустые камни?
О, знаю я, кто пристальней, чем все,
ее посеребрил двумя зрачками!

Так я сижу, подслушиваю сад,
для вечности в окне оставив щелку.
И Пушкина неотвратимый взгляд
ночь напролет мне припекает щеку.

* * *

Мне вспоминать сподручней, чем иметь,
когда сей миг и прошлое мгновенье
соединятся, будто медь и медь,
их общий звук и есть стихотворенье.

Как я люблю минувшую весну,
и дом, и сад, чья сильная природа
трудом горы держались на весу
поверх земли, но ниже небосвода.

Люблю сейчас, но, подлежа весне,
я ощущала только страх и вялость
к объему моря, что в ночном окне
мерещилось и подразумевалось.

Когда сходились море и луна,
студил затылок холодок мгновений,
как будто я, превысив чин ума,
посмела фамильярничать с Вселенной.

В суть вечности заглядывал балкон —
не слишком ли? Но оставалась радость,
что, возывев во времени былом
лишь нынешний, — за всех я отыграюсь.

Не наглость ли — при море и луне
их расточать и обмирать от чувства:
они живут воочью, как вчерне
и набело, навек во мне очнутя.

Что происходит между тем и тем
мгновеньями? Как долго длится это —
в душе крепчает и взрослеет тень
оброненного в глушь веков предмета.

Не в этом ли разгадка ремесла,
чьи правила: смертельный страх
и доблесть, —
блеск бытия изжить, спалить дотла
и выгадать его бессмертный отблеск?

ПУТНИК

Анели Судакевич

Прекрасной медленной дорогой
иду в Алёкино (оно
зовет себя: Алекино),
и дух мой, мерный и здоровый,
мне внове, словно не знаком
и, может быть, не современник
мне тот, по склону, сквозь репейник,
в Алекино за молоком
бредущий путник. Да туда ли,
затем ли, ныне ль он идет,
врисован в луг и небосвод
для чьей-то думы и печали?
Я — лишь сейчас, в сей миг, а он —
всегда: пространства завсегда,
подошвами худых сандалий
осуществляет ход времен
вдоль вечности и косогора.
Приняв на лоб припек огня
небесного, он от меня
все дальше и — исчезнет скоро.
Смотрю вослед своей душе,
как в сумерках на убыль света,
отсутствую и брезжу где-то —
то ли еще, то ли уже.
И, выпроставшись из артерий,
громоздких пульсов и костей,
вишу, как стайка новостей,
в ночи не принятых антенной.
Мое сознание растолкав

и заново его туманя,
дремотной речью, тетя Маня
протягивает мне стакан
парной и первобытной влаги.
Сижу. Смеркается. Дождит.
Я вновь жива и вновь должник
вдали белеющей бумаги.
Старуха рада, что зятя
убрали сено. Тишь. Беспечность.
Течет, впадая в бесконечность,
журчание житья-бытья.
И снова путник одержимый
вступает в низкую зарю,
и вчуже долго я смотрю
на бег его непостижимый.
Непоправимо сир и жив,
он строго шествует куда-то,
как будто за красу заката
на нем ответственность лежит.

ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Пришла и говорю: как нынешнему снегу
легко лететь с небес в угоду февралю,
так мне в угоду вам легко взойти на сцену.
Не верьте мне, когда я это говорю.

О, мне не привыкать, мне не впервой, не внове
взять в кожу, как ожог, вниманье ваших глаз.
Мой голос, словно снег, вам упадает в ноги,
и он умрет, как снег, и обратится в грязь.

Неможется! Нет сил! Я отвергаю участь
явиться на помост с больничной простыни.
Какой мороз во лбу! Какой в лопатках ужас!
О, кто-нибудь, приди и время растяни!

По грани роковой, по острию каната —
плясунья, так пляши, пока не сорвалась.
Я знаю, что умру, но я очнусь, раз надо.
Так было всякий раз. Так будет в этот раз.

Исчерпана до дна пытливыми глазами,
на сведенье ушей я трачу жизнь свою.
Но тот, кто мной любим, всегда спокоен в зале.
Себя не сохраню, его не посрамлю.

Измучена гортань кровотеченьем речи,
но весел мой прыжок из темноты кулис.
В одно лицо людей, все явственней и резче,
сливаются черты прекрасных ваших лиц.

Я обращаю в поклон нерасторопность жеста.
Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих.
Достанет ли их вам для малого блаженства?
Не навсегда прошу — пускай на миг, на миг...

ДОМ

Борису Мессереру

Я вам клянусь: я здесь бывала!
Бежала, позабыв дышать.
Завидев снежного болвана,
вздыхала, замедляла шаг.

Непрочный памятник мгновенью,
снег рукотворный на снегу,
как ты, жива на миг, а верю,
что жар весны превозмогу.

Бесхитростный прилив народа
к витринам — празднество сулил.
Уже Никитские ворота
разверсты были, снег вадил.

Какой полет великолепный,
как сердце бедное несло
вдоль Мерзляковского — и в Хлебный,
сквозняк — навывлет, двор — насквозь.

В жару предчувствия плохого
поступка до скончанья лет —
в подъезд, где ветхий лак плафона
так трогателен и нелеп.

Как опрометчиво, как пылко
я в дом влюбилась! Этот дом
набит, как детская копилка,
судьбой людей, добром и злом.

Его жильцов разнообразных,
которым не было числа,
подвыпивших, поскольку праздник,
я близко к сердцу приняла.

Какой разгадки разум страждал,
подглядывая с добротой
неистовую жизнь сограждан,
их сложный смысл, их быт простой?

Пока таинственная бытность
моя в том доме длилась, я
его старухам полюбила
по милости житья-бытья.

В печальном лифте престарелом
мы поднимались, говоря
о том, как тяжело старым телом
терпеть погоду декабря.

В том декабре и в том пространстве
душа моя отвергла зло,
и все казались мне прекрасны,
и быть иначе не могло.

Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке.
Пульсировала бесконечность
в груди, в запястье и в виске.

Я шла, ущелья коридоров
меня заманивали в глубь

чужих печалей, свадеб, вздоров,
в плач кошек, в лепет детских губ.

Мне — выше, мне — туда, где должен
пришелец взмыть под крайний свод,
где я была, где жил художник,
где ныне я, где он живет.

Его диковинные вещи
воспитаны, как существа,
Глаголет их немое вече
о чистой тайне волшебства.

Тот, кто собрал их воедино,
был не корыстен, не богат.
Возвышенная вещь родима
душе, как верный пес иль брат.

Со свалки времени бывшего
возвращены и спасены,
они печально и беззлобно
глядят на спешку новизны.

О, для раската громового
так широко открыт раструб.
Четыре вещей граммофона
во тьме причудливо растут.

Я им родня, я погибаю
от нежности, когда вхожу,
я так же шею выгибаю
и так же голову держу,

Я, как они, витиевата,
и горла обнажен проем,
звук незапамятного вальса
сохранен в голосе моем.

Не их ли зов меня окликнул,
и не они ль меня влекли
очнуться в грозном и великом
недоумении любви?

Как добр, кто любит, как огромен,
как зряч к значенью красоты!
Мой город, словно новый город,
мне предъявил свои черты.

Смуглей великого арапа
восходит ночь. За что мне честь —
в окно увидеть два Арбата:
и тот, что был, и тот, что есть?

Лиловой гроздью виснет сумрак.
Вот стул — капризник и чудак.
Художник мой портретъ рисует
и смотрит остро, как чужак.

Уже считая катастрофой
уют, столь полный и смешной,
ямб примеряю пятистопный
к лицу, что так любимо мной.

Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,

чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.

Всегда быть не хитрей, чем дети,
не злей, чем дерево в саду,
благословляя жизнь на свете
заботливей, чем жизнь свою.

Так я жила былой зимою.
Ночь разрасталась, как сирень,
и все играла надо мною
печали сильная свирель.

Был дом на берегу бульвара.
Не только был, но ныне есть.
Зачем твержу: я здесь бывала,
а не твержу: я ныне здесь?

Еще жива, еще любима,
все это мне сейчас дано,
а кажется, что это было
и кончилось давным-давно...

ДВА ГЕПАРДА

Этот ад, этот сад, этот зоо —
там, где лебеди и зоосад,
на прицеле всеобщего взора
два гепарда, обнявшись, лежат.

Шерстью в шерсть, плотью в плоть проникая,
сердцем втиснувшись в сердце — века
два гепарда лежат. О, какая,
два гепарда, какая тоска!

Смотрит глаз в золотой, безвоздушный,
равный глаз безысходной любви.
На потеху толпе простодушной
обнялись и лежат, как легли.

Прихожу ли я к ним, уйду ли —
не слабее с той давней поры
их объятье густое, как джунгли,
и сплошное, как камень горы.

Обнялись — остальное неправда,
ни утрат, ни оград, ни преград.
Только так, только так, два гепарда,
я-то знаю, гепард и гепард.

* * *

Прохожий, мальчик, что ты? Мимо
иди и не смотри мне вслед.
Мной тот любим, кем я любима!
К тому же знай: мне много лет.

Зрачков горячую угрюмость
вперять в меня повреди:
то смех любви, сверкнув, как юность,
позолотил черты мои.

Иду.. февраль прохладой лечит
жар щек... и снегу намело
так много... и нескромно блещет
красой любви лицо мое.

ВОСПОМИНАНИЕ

Мне говорят: который год
в твоём доме идет ремонт,
и, говорят, спешит народ
взглянуть на бодрый ход работ.

Какая вновь взята Казань
и в честь каких побед и ран
встает мучительный глазам
цветастый азиатский храм?

Неужто столько мастеров
ты утруждаешь лишь затем,
созвав их из чужих сторон,
чтоб тень мою свести со стен?

Да не любезничай, чудак!
Ату ее, гони взашей —
из вечной нежности собак,
из краткой памяти вещей!

Не надо храма на крови!
Тень кротко прянет за карниз —
а ты ей лакомство скорми,
которым угощают крыс.

А если в книжный переплет —
пусть книги кто-нибудь сожжет.
Она опять за свой полет —
а ты опять за свой сачок.

Не забудь про дождь перил:
дуб изведи, расплавь металл —
им локоть столько говорил,
покуда вверх и вниз летал.

А если чья-нибудь душа
вдруг обо мне тайком всплакнет —
пусть в устье снега и дождя
вспорхнет сквозь белый потолок.

И главное — чтоб ни одной
свечи, чтоб ни одной свечи:
умеет обернуться мной
свеча, горящая в ночи.

Не дай, чтоб пялилась свеча
в твои зрачки своим зрачком.
Вот что еще: убей сверчка!
Мне доводилось быть сверчком.

Все делай так, как говорю,
пока не поздно, говорю,
не то устанешь к декабрю
и обратишь свой дом в зарю.

ФЕВРАЛЬ БЕЗ СНЕГА

Не сани летели — телега
скрипела, и маленький лес
просил подаяния снега
у жадных иль нищих небес.

Я утром в окно посмотрела:
какая невзрачная рань!
Мы оба тоскуем смертельно,
не выжить нам, брат мой, февраль.

Бесснежье голодной природы,
измучив поля и сады,
обычную скудость невзгоды
возводит в значенье беды.

Зияли надземные недра,
светало, а солнце не шло.
Взамен плодородного неба
висело пустое ничто.

Ни жизни иной, ни наживы
не надо, и поздно уже.
Лишь бедная прибыль снежинки
угодна корыстной душе.

Вожак беззащитного стада,
я знала морщинами лба,

что я в эту зиму устала
скитаться по пастбищу льда.

Звонила начальнику книги,
искала окольных путей
узнать про возможные сдвиги
в судьбе моих слов и детей.

Там — кто-то томился и бегал,
твердил: его нет! его нет!
Смеркалось, а он все обедал,
вкушал свой огромный обед.

Да что мне в той книге? Бог с нею!
Мой почерк мне скушен и нем.
Писать, как хочу, не умею,
писать, как умею,— зачем?

Стекло голубело, и дивность
из пекла антенн и реле
пристекала, и длилась,
и зримо сбывалась в стекле.

Не страшно ли, девочка диктор,
над бездной земли и воды
одной в мироздании диком
нестись, словно лучик звезды?

Пока ты скиталась, витала
меж башней и зреньем людей,

открылась небесная тайна
и стала добычей твоей.

Явилась в глаза, уцелела,
и доблестный твой голосок
неоспоримо и смело
падение снега предрек.

Сказала: грядущею ночью
начнется в Москве снегопад.
Свою драгоценную ношу
на нас облака расточат.

Забудет короткая память
о муке бесснежной зимы,
а снег будет падать и падать,
висеть от небес до земли.

Он станет счастливым избытком,
чрезмерной любовью судьбы,
услადю губ и напитком,
весною пьянящим сады.

Он даст исцеленье болевшим,
богатством снабдит бедняка,
и в этом блаженстве белейшем
сойдутся тетрадь и рука.

Простит всех живущих на свете
метели вседобрая власть,

и будем мы — баловни, дети
природы, влюбившейся в нас.

Да, именно так все и было.
Снег падал и долго был жив.
А я — влюблена и любима,
и вот моя книга лежит.



МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

ОТ АВТОРА

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несвоевременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как — если бы это было возможно — страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что может не сбыться. От сколького он зависит в своей незащитности, этот еще не существующий ребенок: от малой случайности и от великих трагедий. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благородной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии — Стопани — была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях, украшенному яркой чернотой волос и глубокой, выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером, сподвижником Ленина по работе в «Искре» и съездам РСДРП. Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нем

меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжело терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными — не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нем непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль — их поливать водой!
Мой стебелек, желающий прибавки,
вытягивать магнитную звездой —
поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих
играх.

Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный
Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
— Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта
поправит?

Я б разминуться предпочла с тобой,
но все ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:

— Чур, чур!

Ты кто?

Рассейся, слабая туманность! —

Я говорю:

— Я — нечто.

Я — чуть-чуть,

грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!

Дождись ли дня, когда мой первый

возглас

опустошит гортань, чтоб пригубить,

о Жизнь, твой острый, бьющий

в ноздри воздух?

ВОЗРАЖЕНИЕ ИГРЕКА

— Не дождешься, шиш! И в том
я клянусь кривым котом,
приоткрывшим глаз зловещий,
худобой вороны вещей,
крылья вскинувшей крестом,
жабой, в тине разомлевшей,
смертью, тело одолевшей,
белизной ее белейшей
на кладбище роковом.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Между прочим, я дождусь,
в чем торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом
той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.

— Помолчи. Я вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя.
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то — есть, а нет — тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха-ха!

2

Каков мерзавец! Пусть он держит
речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы уберечь
от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, прапра-
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй
сомнения!

Не он, а я, я — искустель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей дожитии неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!» — и по щекам
с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?
И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он — так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и дерева, и яблоки, и змия,
и ту беду, бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый
и дальновидный подвиг той ошибки! след
Вернется через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но боговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он — шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой,
и обезьянка не чужда таланта.

ПЕСЕНКА ШАРМАНЩИКА

В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала — гения,
вышло — шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой — невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любы
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви
неблизкой,
но некогда в российское село —
ура, ура! — шут прибыл итальянский.

А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,
и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику
не снись,
так властен в нем зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц,
что он — о, ужас! — в дальний путь
собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,

мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд,—
рожусь ли? — все игра орла и решки,—
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать
не мной,
а кем-то, был мне грустный пропуск
выдан,
все ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вдох и мой последний
выдох.

Там и останусь, где душе моей
сулили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

ВОЛЬНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ТАТАРСКОЙ ПЕСНИ

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облегли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, так косивших,
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле — пахарь, а в воинстве — воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых — прав навеки, кто волен,
среди умерших — бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбежна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной;

чуть голубой, как сабля из ножен,
дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая ей так была к лицу
и за которую ей все прощалось.

А далее все шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

6

О старина, начало той семьи —
две барышни, чья маленькая повесть
печальная осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная
скудость
придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг невероятный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую — Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупой да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

СПРАВКА ОБ ИХ БОЛЕЗНИ

«Справка выдана в том...»

О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.

Ранит голову грохот огромный.
И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.

О сестра, дай мне льда. Уж пробил
и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.
Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой
мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
О Наташа, сестра, мне бы лед так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, города.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.
Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был
стон
в малом горле.
Но ныне беда —
позабыта.

Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

°

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волненье. Что там? Выстрел. Мешанина.
Пронзительный русалочки озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге предвойны и предвесны,
в тумане вечеряющего века

мерцает лбом сибирский гимназист,
и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остро-серебрист
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:
— Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Все для него: ему назначен мед
земных растений, труд ему угоден.
Но все ж он бездыханен, слеп и мертв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою горя
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вкруг пушкинского горла.

Но все же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

КОММЕНТАРИИ ЖАНДАРМА

Всем, кто бунты разжигал,—
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал,—
всем отведу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов,—
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно,—
я их всех тюрьмой поражаю
и засов задвину сам.
В чем клянусь верностью государю
императору
и здоровьем милых дам.

О распущенность природы!
Дети в ней — и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,

все кричит, имеет цвет.
Слава богу, власть жандарма
все, что есть, сведет на нет.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подход он.
(Никто на похороны
копеечки не дал.)

Знают люди, знают дети:
я бессмертен. Я жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

8

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность —
земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведет себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маевок бабушка моя
несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит
и плечики на что идут войною?
Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» — «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а все же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?
Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстилался,
я узнаю твой облик, россиянка.
В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг — мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Все ждет. И ей — то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильней пульс играет вкось
и вкривь.
Ей все нужней, все тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребенка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьет по локтям
острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рев сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных
и предельных объемах шаров —
тесно воздуху в трех этих гласных.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,

как бредущий в степи человек
близость звезд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,
совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже все ближе, все верней
расчет, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Все непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолет,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад
и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства.

Та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворечник,—
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших
ей предстоит удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,
где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

11

Я — скоро. Но куда нет меня.
Я — где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат — и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приемной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом — и предстать в ее проеме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я — вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.

Сейчас расхожусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волненьем среди тех кулис,
в потемках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбылся в легких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галеркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, превозмогая боль,
от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выход твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотую труб
замаранный, сидит верхом на доме,

захотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей ее, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю.

РЕПЛИКА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЯ

О нечто, крошка, пустота,
еще не девочка, не мальчик,
ничто чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я — умник, много лет проживший,—

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься — что же, в том
все ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
все выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там — во тьме пустой,
где нет тебе ни слез, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно,—
всею музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна,

Но для чего же мне во вред
ему прийти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой хуδοбою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьет
один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Все наглей, все дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелою с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,
словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

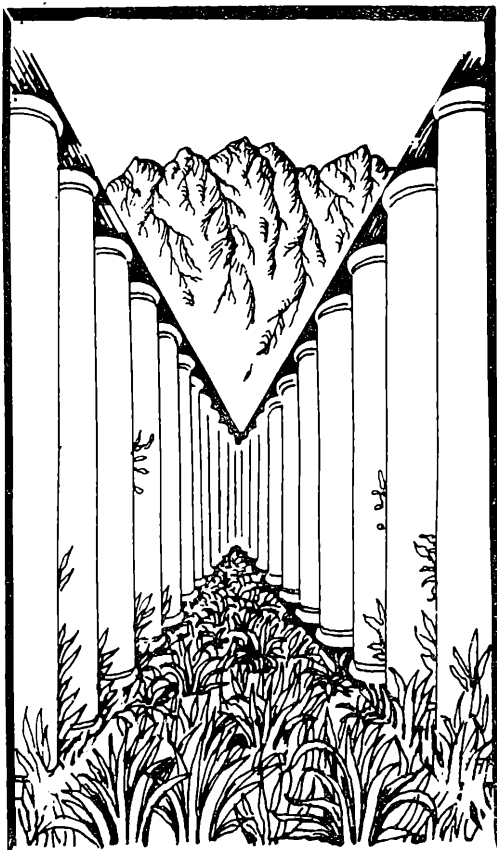
О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, пойми,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!

— Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь, да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобожденья?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева века или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.



12

Каков мерзавец! Но, среди всех затей,
любой наш год — утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рев,
захлебом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым острием,
вонзился мой ожегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль, и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить дерева
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом — воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

13

Что еще вам сказать?
Я не знаю, я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.

Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.

Написала все это Ахмадулина

Белла Ахатовна.

Год рождения — 1937. Место

рождения —

город Москва.

СКАЗКА О ДОЖДЕ

(в нескольких эпизодах
с диалогом и хором детей)

Е. Евтушенко

1

Со мной с утра не расставался Дождь.
— О, отвяжись! — я говорила грубо.
Он отступал, но преданно и грустно
вновь шел за мной, как маленькая дочь.
Дождь, как крыло, прирос к моей
спине.

Его корила я:
— Стыдись, негодник!
К тебе в слезах взывает огородник!
Иди к цветам!
Что ты нашел во мне?

Меж тем вокруг стоял суровый зной.
Дождь был со мной, забыв про все
на свете.

Вокруг меня приплясывали дети,
как около машины поливной.

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе.
Я спряталась за стол, укрытый нишей.
Дождь за окном пристроился, как нищий,
и сквозь стекло желал пройти ко мне.

Я вышла. И была моя щека
наказана пощечиною влаги,
но тут же Дождь, в печали и отваге,
омыл мне губы запахом щенка.

Я думаю, что вид мой стал смешон.
Сырым платком я шею обвязала.
Дождь на моем плече, как обезьяна,
сидел.
И город этим был смущен.

Обрадованный слабостью моей,
он детским пальцем щекотал мне ухо.
Сгущалась засуха. Все было сухо.
И только я промокла до костей.

2

Но я была в тот дом приглашена,
где строго ждали моего привета,
где над янтарным озером паркета
всходила люстры чистая луна.

Я думала: что делать мне с Дождем?
Ведь он со мной расстаться не захочет.
Он наследит там. Он ковры замочит.
Да с ним меня вообще не пустят в дом.

Я строго объяснила: — Доброта
во мне сильна, но все ж
не безгранична.

Тебе ходить со мною неприлично.—
Дождь на меня смотрел, как сирота.
— Ну, черт с тобой,— решила я,
— иди!
Какой любовью на меня ты пролит?
Ах, этот странный климат, будь он
проклят! —
Прощенный Дождь запрыгал впереди.

3

Хозяин дома оказал мне честь,
которой я не стоила. Однако
промокшая всей шкурой, как ондатра,
я у дверей звонила ровно в шесть.

Дождь, притаившись за моей спиной,
дышал в затылок жалко и щекотно.
Шаги — глазок — молчание — щеколда.
Я извинилась: — Это Дождь со мной.

Позвольте, он побудет на крыльце?
Он слишком влажный, слишком
удлиненный
для комнат.
— Вот как? — молвил удивленный
хозяин, изменившийся в лице.

4

Признаться, я любила этот дом.
В нем свой балет всегда вершила
легкость.
О, здесь углы не ушибают локоть,
здесь палец не порежется ножом.

Любила все: как медленно хрустят
шелка хозяйки, затененной шарфом,
и, более всего, плененный шкафом —
мою царевну спящую — хрусталь.

Тот, в семь румянцев розовевший
спектр,
в гробу стеклянном, мертвый
и прелестный.
Но я очнулась. Ритуал приветствий,
как опера, станцован был и спет.

5

Хозяйка дома, честно говоря,
меня бы не любила непременно,
но робость поступить несовременно
чуть-чуть мешала ей, что было зря.

— Как поживаете? (О, блеск грозы,
смиранный в тонком горлышке
гордячки!)

— Благодарю,— сказала я,— в горячке
я провалялась, как свинья в грязи.

(Со мной творилось что-то в этот раз.
Ведь я хотела, поклонившись слабо,
сказать:

—Живу хоть суетно, но славно,
тем более что снова вижу вас.)

Она произнесла:

— Я вас браню.

Помилуйте, такая одаренность!

Сквозь дождь! И расстоянья

отдаленность! —

Вскричали все:

— К огню ее, к огню!

— Когда-нибудь, во времени другом,
на площади, средь музыки и брани,
мы б свидеться могли при барабане,
вскричали б вы:

— В огонь ее, в огонь!

За все! За Дождь! За после! За тогда!
За чернокнижье двух зрачков

чернейших,

за звуки, с губ, как косточки черешни,
летающие без всякого труда!

Привет тебе! Нацель в меня прыжок.

Огонь, мой брат, мой пес многоязыкий!

Лижи мне руки в нежности великой!
Ты тоже Дождь! Как влажен твой
ожог!

— Ваш несколько причудлив монолог,—
проговорил хозяин уязвленный.—
Но, впрочем, слава поросли зеленой!
Есть прелесть в поколение молодом.

— Не слушайте меня! Ведь я в бреду! —
просила я.— Все это Дождь наделал.
Он целый день меня казнил, как демон.
Да, это Дождь вовлек меня в беду.

И вдруг я увидала — там, в окне,
мой верный Дождь один стоял и плакал.
В моих глазах двумя слезами плавал
лишь след его, оставшийся во мне.

6

Одна из гостей, протянув бокал,
туманная, как голубь над карнизом,
спросила с неприязнью и капризом:
— Скажите, правда, что ваш муж богат?

— Богат ли он? Не знаю. Не вполне.
Но он богат. Ему легка работа.
Хотите знать один секрет? Есть
что-то

неизлечимо нищее во мне.

Его я научила колдовству,—
во мне была такая откровенность! —
он разом обратит любую ценность
в круг на воде, в зверька или траву.

Я докажу вам! Дайте мне кольцо.
Спасем звезду из тесноты колечка! —
Она кольца мне не дала, конечно,
в недоуменье отстранив лицо.

— И знаете, еще одна деталь —
меня влечет подохнуть под забором.
(Язык мой так и воспалился вздором.
О, это Дождь твердил мне свой диктант.)

7

Все, Дождь, тебе припомнится потом!
Другая гостья, голосом глубоким,
осведомилась:

— Одаренных богом
кто одаряет? И каким путем?

Как погремушкой, мной гремел озноб:
— Приходит бог, преласков и превесел,
немножко старомоден, как профессор,
и милостью ваш осеняет лоб.

А далее — летите вверх и вниз,
в кровь разбивая локти и коленки
о снег, о воздух, об углы Кваренги,
о простыни гостиниц и больниц.

Василия Блаженного, в зубцах,
тот острый купол помните?

Представьте —
всей кожей об него!
— Да вы присядьте! —
она меня одернула в сердцах.

8

Тем временем, для радости гостей,
творилось что-то новое, родное:
в гостиную впускали кружевное,
серебряное облако детей.

Хозяюшка, прости меня, я зла!
Я все лгала, я поступала дурно!
В тебе, как на губах у стеклодува,
явился выдох чистого стекла.

Душой твоей насыщенный сосуд,
дитя твое, отлитое так нежно!
Как точен контур, обводящий нечто!
О том не знала я, не обессудь.

Хозяюшка, звериный гений твой
в отчаянье вседенном и всенощном
над детищем твоим, о, над сыночком
великий поникает головой.

Дождь мои губы звал к ее руке.
Я плакала:
— Прости меня! Прости же!
Глаза твои премудры и пречисты!

Тут хор детей возник
невдалеке;

Наш номер был объявлен.
Уста младенцев. Жуть.
Мы яблочки от яблонь.
Вот наша месть и суть.

Вниманье! Детский лепет.
Мы вас не подведем.
Не зря великолепен
камин, согревший дом.
В лопатках — холод милый
и острия двух крыл.
Нам кожу алюминий,
как изморозь, покрыл.

Чтоб было жить не скучно,
нас трогает порой
искусствочко, искусство,
ребеночек чужой.

Дождливость есть оплошность
пустых небес. Ура!
О пошлость, ты не подлость,
ты лишь уют ума.

От боли и от гнева
ты нас спасешь потом.
Целуем, королева,
твой бархатный подол!

10

Лень, как болезнь, во мне смыкала
круг.

Мое плечо вело чужую руку.
Я, как птенца, в ладони грела рюмку,
Попискивал ее открытый клюв.

Хозяюшка, вы ощущали грусть
над мальчиком, заснувшим спозаранку,
в уста его, в ту алчущую ранку,
отравленную проливая грудь?

Вдруг в нем, как в перламутровом яйце,
спала пружина музыки согбенной?
Как радуга — в бутоне краски белой?
Как тайный мускул красоты — в лице?

Как в Сашеньке — непробужденный
Блок?

Медведица, вы для какой забавы
в детеныше влюбленными зубами
выщелкивали бога, словно блох?

11

Хозяйка налила мне коньяка:
— Вас лихорадит. Грейтесь у камина.—
Прощай, мой Дождь!
Как весело, как мило
принять мороз на кончик языка!

Как крепко пахнет розой от вина!
Вино, лишь ты ни в чем не виновато.
Во мне расщеплен атом винограда,
во мне горит двух разных роз война.

Вино мое, я твой заблудший князь,
привязанный к двум деревьям
склоненным.

Разъединяй! Не бойся же! Со звоном
меня со мной пусть разлучает казнь!

Я делаюсь все больше, все добрей!
Смотрите — я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж мне тесно средь окон и дверей!

О господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть
на колени!

Я вас люблю! Застенчивость калек
бледнит мне щеки и кривит уста.

Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя — голая, большая:
как холст для красок, чист простор
для ран!

Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятья.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик, Дождь! Скорей иди сюда!

Слепые, тайн не знающие руки
зачем вы окунули в кровь Дождя?

Хозяин дома прошептал:

— Учти,

еще ответишь ты за эту встречу! —

Я засмеялась:

— Знаю, что отвечу.

Вы безобразны. Дайте мне пройти.

13

Пугал прохожих вид моей беды.

Я говорила:

— Ничего. Оставьте.

Пройдет и это.—

На сухом асфальте

я целовала пятнышко воды.

Земли перекалялась нагота,
и горизонт вокруг города был розов.
Повергнутое в страх Бюро прогнозов
осадков не сулило никогда.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ В АНТИКВАРНОМ МАГАЗИНЕ

Зачем? — да так, как входят в глушь осин,
для тишины и праздности гулянья,—
не ведая корысти и желанья,
вошла я в антикварный магазин.

Недобро глянул старый антиквар.
Когда б он не устал за два столетья
лелеять нежной ветхости соцветья,
он вовсе б мне дверей не открывал.

Он опасался грубого вреда
для слабых чаш и хрусталя больного.
Живая подлость возраста иного
была ему враждебна и чужда.

Избрав меня меж прочими людьми,
он кротко приготовился к подвоху,
и ненависть, мешающая вздоху,
возникла в нем с мгновенностью любви.

Меж тем искала выгоды толпа,
и чужеземец мудростью холодной
вникал в значенье люстры старомодной
и в руки брал бессвязный хор стекла.

Недосчитавшись голоса одной,
в былых балах утраченной подвески,

на грех ее обидевшись по-детски,
он заскучал и захотел домой.

Печальную пылинку серебра
влекла старуха из глубин юдоли
и тяжела была ее ладони
вся невесомость быта и добра.

Какая грусть — среди сумрачных теплиц
разглядывать осеннее предсмертье,
чужих вещей, воспитанных при свете,
огней угасших и минувших лиц.

И вот тогда, в открывшейся тиши,
раздался оклик запаха и цвета:
ко мне взывал и ожидал ответа
невнятный жест неведомой души.

Знакомой боли маленький горнист
трубил, словно в канун стихосложения,—
так требует предмет изображения,
и ты бежишь, как верный пес на свист.

Я знаю эти голоса ничьи.
О плач всего, что хочет быть воспето!
Навзрыд звучит немая просьба эта,
как крик: — Спасите! — грянувший в ночи.

Отчаявшись, до крайности дойдя,
немое горло просьбу излучало.

Я ринулась на зов и для начала
сказала я: — Не плачь, мое дитя.

— Что вам угодно? — молвил антиквар.—
Здесь все мертво и не способно к плачу.—
Он, все еще надеясь на удачу,
плечом меня теснил и оттирал.

Сведенные враждой, плечо к плечу
стояли мы. Я отвечала сухо:
— Мне, ставшею открытой раной слуха,
угодно слышать все, что я хочу.

— Ступайте прочь! — он гневно повторял.
И вдруг, среди слабоумия сомнений,
в уме моем сверкнул случайно гений
и выпалил: — Подайте тот футляр!

— Тот ларь? — Футляр.— Фонарь? — Футляр.—
Фуляр?

— Помилуйте, футляр из черной кожи.—
Он бледен стал и закричал: — О боже!
Все, что хотите, но не тот футляр.

Я вас прошу, я заклинаю вас!
Вы молоды, вы пахнете бензином!
Ступайте к современным магазинам,
где так велик ассортимент пластмасс.

— Как это мило с вашей стороны,—
сказала я,— я не люблю пластмассы.

Он мне польстил: — Вы правы и прекрасны.
Вы любите непрочность старины.

Я сам служу ее календарю.
Вот медальон, и в нем портрет ребенка.
Минувший век. Изящная работа.
И все это я вам теперь дарю.

...Печальный ангел с личиком больным.
Надземный взор. Прилежный лоб и локон.
Гроза в июне. Воспаленье в легком.
И тьма небес, закрывшихся за ним.

— Мне горестей своих не занимать,
а вы хотите мне вручить причину
оплакивать всю жизнь его кончину
и в горе обезумевшую мать?

— Тогда сервиз на двадцать шесть персон! —
воскликнул он, надеждой озаренный,—
в нем сто предметов ценности огромной.
Берите даром — и вопрос решен.

— Какая щедрость и какой сюрприз!
Но двадцать пять моих гостей возможных
всегда в гостях, в бегах неосторожных.
Со мной одной соскучится сервиз.

Как сто предметов я могу развлечь?
Помилуй бог, мне не по силам это.

Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.

— Как я устал! — промолвил антиквар.—
Мне двести лет. Моя душа истлела.
Берите все! Мне все осточертело!
Пусть все мое теперь уходит к вам.

И он открыл футляр. И на крыльцо
из мглы сеней, на волю из темницы
явился свет и опалил ресницы.
и это было женское лицо.

Не по чертам его — по черноте,
ожегшей ум, по духоте пространства
я вычислила, сколь оно прекрасно,
еще до зренья, в первой слепоте.

Губ полусмехом, полумраком глаз
лицо ее внушало мысль простую:
утратить разум, кануть в тьму пустую,
просить руки, проситься на Кавказ.

Там — соблазнить ленивого стрелка
сверкающей открытостью затылка,
раз навсегда — и все. Стрельба затихла,
и в небе то ли бог, то ль облака.

— Я молод был сто тридцать лет назад,—
проговорился антиквар печальный.—

Сквозь зелень лип, по желтизне песчаной
я каждый день ходил в тот дом и сад.

О, я любил ее не первый год,
целуя воздух и камня сада,
когда проездом — в ад или из ада —
вдруг объявился тот незванный гость.

Вы Ганнибала помните? Мастак
он был в делах, достиг чинов немалых.
Но я о том, что правнук Ганнибалов
случайно оказался в тех местах.

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Все вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

Чужой сквозняк ударил по стеклу.
Шкаф отвечал разбитою посудой.
Повеяло паленым и простудой,
свеча погасла. Гость присел к столу.

Когда же вновь затеяли огонь,
склонившись к ней, переменившись разом,
он всем опасным африканским рабством
потупился, как укрошенный конь.

Я ей шепнул: — Позвольте, он урод.
Хоть ростом скромн, и на том спасибо.

— Вы думаете? — так она спросила.—
Мне кажется, совсем наоборот.

Три дня гостил, весь кротость, доброта,
любой совет считал себе приказом.
А уезжая, вольно пыхнул глазом,
и засмеялся красным пеклом рта.

С тех пор явился горестный намек
в лице ее, в его простом порядке.
Над непосильным подвигом разгадки
трудился лоб, а разгадать не мог.

Когда из сна, из глубины тепла
всплывала в ней незрячая улыбка,
она пугалась, будто бы ошибка
лицом ее допущена была.

Но нет, я не уехал на Кавказ.
Я сватался. Она мне отказала.
Не изменив намерений нисколько,
я сватался второй и третий раз.

В столетье том, в тридцать седьмом году,
по-моему, зимою, да, зимою,
она скончалась, не послав за мною,
без видимой причины и в бреду.

Бессмертным став от горя и любви,
я ведаю этим ничтожным храмом,

толкую с хамом и торгую хламом,
затерянный меж богом и людьми.

Но я утешен мнением молвы,
что все-таки убит он на дуэли.
— Он не убит, а вы мне надоели, —
сказала я, — хоть не виновны вы.

Простите мне желание руки
владеть и взять. Поделим то и это.
Мне — суть предмета, вам — краса портрета: —
в награду, в месть, в угоду, вопреки.

Старик спросил: — Я вас не вверг в печаль
признаньем в этих бедах небывалых?
— Нет, вспомнился мне правнук Ганнибалов, —
сказала я, — мне лишь его и жаль.

А если вдруг, вкусивший всех наук,
читатель мой заметит справедливо:
— Все это ложь, изложенная длинно. —
Отвечу я: — Конечно, ложь, мой друг.

Весьма бы усложнился трезвый быт,
когда б так поступали антиквары,
и жили вещи, как живые твари,
а тот, другой, был бы и впрямь убит.

Но нет, портрет живет в моем дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей. И правнук Ганнибалов
к сему причастен — судя по всему.

ДАЧНЫЙ РОМАН

Маленькая поэма

Вот вам роман из жизни дачной.
Он начинался в октябре,
когда зимы кристалл невзрачный
мерцал при утренней заре.

И тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
был зренья моего добычей
и пленником души моей.

Недавно, добрый и почтенный,
сосед мой умер, и вдова,
для совершенья жизни брэнной,
уехала, а дом сдала.

Там появились брат с сестрою.
По вечерам в чужом окне
сияла кроткою звездою
их жизнь, неведомая мне.

В благовоспитанном соседстве
поврозь мы дождались зимы,
но, с тайным любопытством в сердце,
невольню сообщались мы.

Когда вблизи моей тетради
встречались солнце и сосна,

тропинкой, скрытой в снегопаде,
спешила к станции сестра.

Я полюбила тратить зренье
на этот мимолетный бег,
и длилась целое мгновенье
улыбка, свежая, как снег.

Брат был свободней и не должен
вставать, пока не встанет день.
Кто он? — я думала.— Художник?
А думать дальше было лень.

Всю зиму я жила привычкой
их лица видеть поутру
и знать, с какою электричкой
брат пустится встречать сестру.

Я наблюдала их проказы,
снежки, огни, когда темно,
и знала, что они прекрасны,
а кто они — не все ль равно?

Я вглядывалась в них так остро,
как в глушь иноязыких книг,
и слаще явного знакомства
мне были вымыслы о них.

Их дней цветущие картины
растила я меж сонных век,

сослав их образы в куртины,
в заглохший сад, в старинный снег.

Весной мы сблизились — не тесно,
не участив случайность встреч.
Их лица были так чудесно
ясны, так благородна речь.

Мы сиживали в час заката
в саду, где липа и скамья.
Брат без сестры, сестра без брата,
как ими любовалась я!

Я шла домой, и до рассвета
зрачок держала на луне.
Когда бы не несчастье это,
была б несчастна я вполне.

Тек август. Двум моим соседям
прискучила его жара.
Пришли, и молвил брат: — Мы едем.
— Мы едем,— молвила сестра.

Простились мы — скорей степенно,
чем пылко. Выпили вина.
Они уехали: Стемнело.
Их ключ остался у меня.

Затем пришло письмо от брата:
«Коли прогневаются Вы,

я не страшусь: мне нет возврата
в соседство с Вами, в дом вдовы.

Зачем, простак недалновидный,
я тронул на снегу Ваш след?
Как будто фосфор ядовитый
в меня вселился — еле видный,

донины излучает свет
ладонь...»— с печалью деловитой
я поняла, что он — поэт,
и заскучала...

Тем не мене
отвыкшие скрипеть ступени
я поступью моей бужу,
когда в соседний дом хожу,
одна играю в свет и тени
и для таинственной затеи
часы зачем-то завожу
и долго за полночь сижу.

Ни брата, ни сестры. Лишь в скрипе
зайдется ставня. Видно мне,
как ум забытой ими книги
печально светится во тьме.

Уж осень. Разве осень? Осень.
Вот свет. Вот сумерки легли.
— Но где ж роман? — читатель спросит.—
Здесь нет героя, нет любви!

Меж тем — все есть! Окрест крепчает
Октябрь, и это означает,
что тот, столь счастливо любивший
печаль и блеск осенних дней,
идет дорогою обычной
на жадный зов свечи моей.

Сад облетает первобытный,
и от любви кровопролитной
немеет сердце, и в костры
сгребают листья... Брат сестры,
прощай навеки! Ночью лунной
другой возлюбленный безумный,
чья поступь молодому льду
не тяжела, минует тьму
и к моему подходит дому.
Уж если говорить: люблю! —
то, разумеется, ему,
а не кому-нибудь другому.

Очнись, читатель любопытный!
Вскричи: — Как, намертво убитый
и прочный, точно лунный свет,
тебя он любит?! —
Вовсе нет.

Хочу соврать и не совру,
как ни мучительна мне правда.
Боюсь, что он влюблен в сестру
стихи слагающего брата.

Я влюблена, она любима,
вот вам сюжета грозный крен.
Ах, я не зря ее ловила
на робком сходстве с Анной Керн!

В час грустных наших посиделок
твержу ему: — Тебя злодей
убил! Ты заново содеян
из жизни, из любви моей!
Коль ты таков — во мглу веков
назад сошлю! —
не отвечает
и думает: — Она стихов
не пишет часом? — и скучает.

Вот так, столетия подряд,
все влюблены мы невпопад,
и странствуют, не совпадая,
два сердца, сирых две ладьи,
ямб ненасытный услаждая
великой горечью любви.

СОДЕРЖАНИЕ

Это я...	5
День поэзии	8
Древние рисунки в Хакасии	9
Грузинских женщин имена...	10
Август	12
Твой дом	13
Газированная вода	15
Мотороллер	17
«Не уделяй мне много времени...»	19
Магнитофон	20
«Влечет меня старинный слог..»	22
В метро на остановке «Сокол»	24
«Нас одурачил нынешний сентябрь...»	26
Маленькие самолеты	27
Болезнь	29
Свеча	31
Осень	32
Тоска по Лермонтову	33
Гостить у художника	37
Мои товарищи	41
Вступление в простуду	44
«Живут на улице Песчаной...»	46
«Кто знает — вечность или миг...»	48
«По улице моей который год...»	49
Стихотворение, написанное во время бессонницы в Тбилиси	51
Симону Чиковани	53
Сны о Грузии	55
Озноб	56
«Так дурно жить, как я вчера жила...»	63

Уроки музыки	65
Слово	67
Немота	69
Пейзаж	71
Воскресный день	72
Сумерки	75
В опустевшем доме отдыха	77
Зима	79
Зимняя замкнутость	81
Сон	85
«Случилось так, что двадцати семи...»	87
Ночь	89
Плохая весна	91
Снегопад	95
«Я думаю: как я была глупа...»	97
«Как долго я не высыпалась...»	99
Описание ночи	103
«Наскучило уже, да и некстати...»	105
Медлительность	107
«В той тоске, на какую способен...»	108
«Однажды, покачнувшись на краю...»	110
«Стихотворения чудный театр...»	111
Ночь перед выступлением	112
«Завидна мне извечная привычка...»	114
«Я вас люблю, красавицы столетий...»	115
Осень	118
Пререкание с Крымом	119
Снимок	121
«Опять сентябрь, как тьму времен назад...»	123
«Мне вспоминать сподручней, чем иметь...»	125
Путник	127
Взойти на сцену	129

Дом	131
Два гепарда	136
«Прохожий, мальчик, что ты? Мимо...»	137
Воспоминание	138
Февраль без снега	140
П О Э М Ы	
Моя родословная	145
Сказка о Дожде	176
Приключение в антикварном магазине	189
Дачный роман. Маленькая поэма	198

Б. А. Ахмадулина.
А95 Свеча. М., «Сов. Россия», 1977.
208 с.

Известная советская поэтесса Белла Ахмадулина — автор трех поэтических сборников: «Струна» (М., «Советский писатель», 1968); «Уроки музыки» (М., «Советский писатель», 1969); «Стихи» (М., «Художественная литература», 1975).

В настоящую книгу вошли избранные стихи из сборников. Кроме того, в нее включены некоторые стихи, опубликованные поэтессой в периодической печати в последние годы.

А 70402—172 без объявления.
М-105(03)77

Р2

Белла Ахатовна Ахмадулина
С В Е Ч А

Редактор В. КУРГАНОВА
Художественный редактор Э. РОЗЕН
Технический редактор Л. САМСОНОВА
Корректор Н. БУЧАРОВА

ИБ № 1186

Кодированный оригинал-макет издания подготовлен на электронном печатно-кодирующем и корректирующем устройстве «Север». Подписано к печати 6/IX-77 г. Формат издания 70×90¹/₃₂. Физ. п. л. 6,5. Усл. п. л. 7,60. Уч.-изд. л. 6,25. Изд. инд. ЛХП-38. А13151. Тираж 75 000 экз. Цена 85 коп. в переплете № 7. Цена 65 коп. в обложке. Бум. № 1 тип. Зак. № 308.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, д. 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

